

Имя
(повесть)

Взгляни: а под тем ли ты Солнцем стоишь?
Эдмунд Шклярский
«Клянись же, ешь землю»¹

1

Пробуждение было внезапным и быстрым. Открыв широко глаза, я уставил взгляд вверх в темноту. Неясная и слабая, совершенно не осознаваемая тревога подталкивала к необходимости думать, но мой разум не был в состоянии родить даже самой жалкой мыслишки. Я оказался не способен даже задать себе вопрос о причине моей тревоги. Мне ничего не снилось, меня не мучил ночной кошмар, прерванный сон был глубоким и ровным. Помноженное на паралич мысли, это только усиливало тревогу, рефлекторно заставляя организм бороться с наваждением и вырываться из невольного оцепенения.

Я резко вскинулся и сел на кровати, далеко откинув край одеяла. Сизый лунный свет, струившийся сквозь тяжелые, с причудливым узором, тюлевые занавеси на большом окне, густо заливал незнакомую комнату. Пытаясь хоть как-то сориентироваться в ней, я стал блуждать взглядом по сторонам, стараясь зацепиться им за что-нибудь знакомое.

Вскоре взгляд наткнулся на красивую молодую женщину, которая лежала на кровати рядом со мной и мирно спала, разметав по подушке золотистые длинные волосы. Я пристально вглядывался в её лицо и не узнавал его. Незнакомая женщина в незнакомой комнате, залитой зловецким лунным светом, лежащая со мной в одной постели.

«Кто это?!» – медленно приходя в тихий ужас, извлёк я из глубин собственного разума первую с момента пробуждения мысль. Отметив про себя возвращение способности мыслить, я обрадовался этому обстоятельству, но лишь на самое короткое мгновение, потому что следом за первой, ко мне пришла вторая мысль, ужаснее первой.

«А кто я?!!»

Поняв, что ответа на этот вопрос у меня нет, я вздрогнул всем телом и покрылся мелким холодным потом, не переставая с испугом и изумлением смотреть на женщину.

Видимо, моя дрожь была настолько сильной, что разбудила ее.

– Ты чего? – буднично и чуточку недовольно спросила она, открыв глаза и посмотрев на меня снизу вверх.

¹ использовано в качестве эпиграфа с любезного согласия лидера группы «Пикник» Э.М.Шклярского (прим. авт.).

Я не знал, хорошо это или плохо, мое соседство с ней в одной постели. Чья это постель? Кто она такая, эта лежащая рядом со мной женщина, и как я должен к ней относиться? Жена? Подруга? Любовница?.. Соседка, сбежавшая от побоев пьяного мужа? Но почему тогда мы лежим в одной постели?.. А если она моя любовница, то есть ли у нее муж и где он? И есть ли тогда у меня жена? И где же тогда она? И зачем я с любовницей, а не с ней? Такова ли привычная для меня мораль и каков мой моральный облик вообще? Кто я по профессии? А вдруг я убийца?! Одни ли мы здесь? Самые разные и неожиданные мысли бегали в моей голове по кругу, как собака за собственным хвостом, и некому было разорвать этот круг.

Я должен был что-то ответить ей, но опасался услышать свой голос. Не помня, как он звучит, не зная, будет ли он звучать так, каким привыкла его слышать она, и, опасаясь, что неверно взятый тон моего голоса вдруг разоблачит меня в самый ненужный момент, не имея ни малейшего представления о том, какие слова я должен при этом произнести, чтобы они оказались в моих устах привычными для нее, в конце концов, не будучи уверенным, что у меня вообще должен быть голос, я весь напрягся, плотно сжал губы и часто-часто отрицательно замотал головой.

Видимо, удовлетворившись таким несложным объяснением, женщина закрыла глаза и вновь погрузилась в сон.

Я по-прежнему оцепенело смотрел на нее. Мучительная пытка продолжалась. Сколько времени прошло в таком оцепенении? Я не знаю. Что такое время, для человеческого существа, потерявшегося в бесконечности? Кстате, какой сейчас век? А время года? В одном у меня сейчас почти не было сомнений – я русский. Я думал по-русски, ко мне обратились по-русски. Эта первая робкая уверенность, прорезавшаяся в потоке сплошной неизвестности, вселяла надежду. Конечно же! Этим-то и объяснялось моё безмыслие после пробуждения – мысли, чтобы быть понятой, нужен язык, а он так долго ко мне не приходил.

За окном на узнаваемом удалении раздался одинокий звук проехавшего автомобиля. Там проходит улица. Я помню. Где-то совсем недалеко гулко хлопнула входная дверь... Тоже знакомо. Подъезд. Женщина рядом со мной потянулась во сне, так знакомо причмокивая губами, и повернула на подушке голову, подставив лунному свету красивый профиль... Жена!

Огромное напряжение в одно мгновение спало с моих плеч, голова закружилась от нахлынувшей слабости и я в изнеможении рухнул на подушку. Я лежу в своей кровати в своей уютной трехкомнатной квартире, рядом спит моя жена. Я помню, как ее зовут и могу назвать свое имя. В одно мгновение ушла неизвестность и все встало на свои привычные места. Осталась лишь смутная тревога.

Боясь потерять вернувшуюся ко мне ценой кратковременного, но самого настоящего ужаса реальность, я не сомкнул глаз до утра. Какое это, оказывается, счастье – сознавать реальность... Но, может быть, реальностью было то, другое, безмолвное? Опять стало страшно. Нет! Какая ерунда! Зачем самому загонять себя в угол сумасшествия? Реальность не может быть такой

аморфной. Человеческая жизнь в утробе и та более реальна, чем этот кошмар. Откуда тебе это знать? Что ты помнишь о своем рождении? Ничего. А твое ощущение потерянности? Оно живо до сих пор. Оно реально. Оно наводит на тебя ужас своей красноречивой достоверностью. От приснившегося кошмара можно очнуться. Но *это* остается с тобой, оно не уходит никуда, даже заслоненное возвращением памяти. Оно всегда где-то рядом. И оно сторожит тебя до следующего раза. Оно становится хитрее. Оно живет вместе с тобой.

Оно живое!

Скорее бы рассвет. Так можно додуматься и до реального обретения собственного места в психиатрическом стационаре. Скорее бы рассвет. С рассветом можно больше ничего не бояться. Оно приходит только по ночам.

Стараясь не разбудить жену, я тихонечко встал и вышел на кухню. Прикрыв поплотнее дверь, я включил светильник и сел за стол напротив окна.

Оно приходит только по ночам. В этом-то «приходит» и кроется настоящий страх. Оно приходило раньше, пришло сегодня, придет не раз и потом.

Зачем? И почему именно ко мне? Если бы у меня были ответы!

С каждым разом оно приходило все чаще и длилось все дольше. Сидя сейчас за столом, я отчетливо понимал, что рано или поздно оно может подвигнуть меня на поступок, неразумный и нелогичный для обитателей той, «нормальной» действительности, не верящих в возможность существования действительности иной. О характере этого возможного поступка я боялся даже подумать. Что будет потом? Необъяснимая смерть? Тюрьма? Палата с решетками на окнах?

За окном серело. Я поставил на плиту чайник и пошел умываться. Вернувшись из ванны, я увидел, что жена уже сидит на кухне, разливая чай по чашкам.

Подняв на меня невыспавшееся лицо, выражавшее непонятную для непосвященного человека смесь сострадания, недоверия и усталого равнодушия, она спросила:

– Опять?

Я молча кивнул. У меня очень красивая жена. Даже сейчас, в пору раннего неурочного пробуждения, ее чуть припухшее со сна лицо, еще свободное от косметики, обрамленное струящимися золотистыми локонами, не переставало быть прекрасным и я невольно залюбовался ею.

– Не надоело?

Эти слова, произнесенные тоном близкого тебе человека, разделяющего твою боль, но оставляющего за собой право сомневаться, вырвали меня из кратковременного забытья.

– Надоело! – выпалил я со злостью и отчаянием в голосе, задетый ее словами за живое.

Поняв, что ее ирония оказалась совсем не к месту, жена в качестве извинения опустила глаза и, закончив размешивать сахар, пододвинула одну из дымящихся чайным ароматом чашек ко мне.

– Что мне с тобой делать? – устало и привычно безэмоционально начала рассуждать она. – У всех мужья, как мужья, а я будто за инопланетянином замужем. Водку ты не пьешь, по приятелям в поисках кобелиных дел не бегаешь. От тебя и слова-то матерного никогда не услышишь. Иногда грешным делом думаю: лучше бы пил, да гулял, чем вот так вот. Тогда бы хоть какое-то объяснение этому было. Я вот сейчас уборщице с нашей работы, стыдно признаться, позавидовала. Ну лупит ее мужик every day¹, так тут все по-русски: просто и понятно – лупит, значит любит. Ты, я знаю, меня тоже любишь, но ведь как же тяжело мне выносить твою любовь! Все молчком, да молчком. Ни слова ласкового не вытянешь, ни кулаком в ухо не дождешься. Я вот сейчас думаю – уж лучше, наверное, кулаком в ухо, чем так.

Она горько усмехнулась.

– В кого ж ты у меня такой неприкаянный? На отца с матерью поглядеть, так вполне нормальные, в меру интеллигентные были люди. Всего у них имелось в меру. А тебе-то, зачем это нужно, чтоб все через край? Жил бы, как все. Оттого и маешься, что сам себя хочешь обмануть. Чего тебе еще надо в этой жизни? Квартира, машина, работа – другим не мечтать, жена терпеливая и понимающая... Посоветовала бы тебе сходить в церковь, но ведь ты не веришь в бога. У тебя ведь и с этим все серьезно и по-настоящему.

– Ты же знаешь, я пробовал прийти к вере. Искренне пытался поверить. Но уж так, видимо, устроен мой разум. Мне нужна возможность познания, а не слепая вера. Если в мире и есть что-то непостижимое, то это не для меня.

– А твои галлюцинации? Это что? Ты нашел им объяснение, или все-таки просто веришь, что с тобою что-то происходит?

– Это не галлюцинации! Это реально. И этому должно быть объяснение, пока не знаю, какое. Да, я слышал, верующие люди говорят, что у таких людей, как я, душа находится в разладе с разумом, что надо бы в церковь сходить, исповедаться, причаститься. Надо бы... но только если вправду веришь. А если твоя вера заключается в неверии, то, как быть тогда?

– А ты сходи к врачу, может быть тогда и объяснение быстро найдется, и кошмар прекратится. – начала раздражаться жена.

– Может быть. – упрямо глядя в стол перед собой, произнес я. – Ты этого хочешь?

– Да ладно тебе, остынь. Оставь врачам их собственные кошмары. Всё же хорошо. Пора на работу собираться.

Жена поставила чашку в раковину и вышла из кухни, а я остался сидеть перед своим нетронутым чаем.

У меня славная жена. Добрая и понимающая. Ей тяжело со мной, хоть мы и любим друг друга. Ей нужны простые и понятные человеческие отношения, в которых бы и заключалось слово «счастье». Этого я дать ей не мог и чувствовал за это свою немалую вину. Нет, семь лет назад, когда мы только поженились, когда еще были живы мои родители, мы были вполне нормальной и счастливой супружеской парой, ничем не отличавшейся от других таких же счастливых и

¹ every day (англ.) – каждый день.

таких же молодых пар. Мы весело работали и беззаботно отдыхали, выбираясь с приятелями на пикники. Мы пили вино, пели песни, ходили в гости и много путешествовали.

Когда все стало меняться? Трудно вспомнить. Наверное, тогда, когда в потоке беззаботной бедности стали появляться островки достатка. А может быть, тогда, когда тебя в первый раз назвали по отчеству, или когда ты впервые осознал и, словно хищник, почувствовал дурманящую сладость власти над другими подобными тебе существами. Или может быть тогда, когда ты впервые попытался посмотреть на себя со стороны и произнести самому себе всего три слова: «зачем ты здесь?». А может быть, это самая обычная плата, которую мы платим за жизненный успех? Но почему только я? А как же другие, более успешные? Какое средство от этого знают они?

Нет никакого средства. Потому что нет у них никаких проблем. В целой вселенной нет. Лишь на самом краю этой вселенной есть крохотная точка, а в этой точке – только ты и твоя дурацкая проблема, которая давит на тебя и не дает тебе душевного покоя. Вот и живи с ней.

Жена, одетая и собранная, зашла на кухню и остановилась, удивленно глядя на меня.

– Ты разве не идешь на работу? Пора выходить, а ты еще не одет. Что с тобой, ты не заболел?

Сидя спиной к двери и не оборачиваясь к ней, я отрицательно мотнул головой.

– Ты выходи одна. Я потом. Возьми такси.

Мы работали в разных местах, но не так, чтобы очень далеко друг от друга: я – перспективный молодой сотрудник именитой юридической конторы, которая располагалась в центре большого города и специализировалась на налоговых отношениях крупных налогоплательщиков, юридическом сопровождении операций с дорогой недвижимостью и ведении реестров акционеров самых разных акционерных обществ; она – начальник отдела известного рекламного агентства, разместившегося за рекой, совсем недалеко от делового центра. Обычно по пути я завозил жену из нашего района в офис, а потом ехал по своим делам. Иногда, по обстоятельствам, привычную схему приходилось ломать. Сейчас я так и поступил, хотя видимых причин для этого не было.

Не проронив больше ни слова, жена ушла, а я остался в полном одиночестве. Нет, я был не один. Со мной были мои мысли, которые заменяли мне целый хор живых оппонентов.

Мыслей было много. Они роились в голове, как пчелы. Одни казались умными, другие нет, третьи вообще были похожи на пролетающие мимо и случайно застрявшие в твоей голове. Подперев голову руками, я тупо смотрел в одну точку на столе. Мне не нужно было прислушиваться к этим мыслям, чтобы понять, что все они сводятся к одному: приятель, ты зашел в тупик!

Трудно в тридцать лет оказаться перед кирпичной стеной с огромной надписью «ТУПИК». Еще труднее, если к этой стене ты подошел, имея в кармане квартиру, машину, достойное образование, солидный счет в банке,

престижную работу, и все это тебе не нужно. Что же я хотел получить взамен? Если бы я знал! Эта неудовлетворенность, которая каждый день усиливала мою тревогу и неустанно выжигала вокруг меня пустыню неопределенности, не давала мне спокойно жить и будила по ночам. Моя жизнь разделилась надвое: одна ее часть была видимой и красивой; в другой, укрытой от всех, воцарился хаос. Я блуждал в нем в полном одиночестве, терзаемый страхом окончательно потерять себя.

Кто бы мог об этом подумать, глядя со стороны на мое благополучие!

Да, со стороны все так и выглядело – происхождение из уважаемой интеллигентной семьи, ранняя не по годам респектабельность, достаток, влиятельные знакомые, деловые обеды в дорогих ресторанах, солидные клиенты. Многие бы не раздумывая отдали все только за возможность прикоснуться к такой жизни. Но что они понимают в ней? Что они понимают в жизни?! Все, что они умеют на самом деле, это считать деньги в чужом кармане, подышать от зависти и говорить «а вот я бы!».

К черту всех и к черту всё!

Медленно заводясь, я начинал вести диалог сам с собой, точнее, с воображаемым собеседником, упрекавшим меня за отсутствие вкуса к жизни, и неторопливо, но упрямо, словно вол на пашне, гнувшим свою линию.

Квартира? Машина? Да, они нужны, без них никак. Но это ли мерило счастья? «Конечно! Еще желательно, чтобы в престижном районе и дорогой марки. Вот как у тебя». Денежная работа в солидной конторе? «Непременно! И чтобы с собственным кабинетом и золотистой табличкой на двери, как у тебя». Клубный досуг? Отпуска на лучших курортах? Бесконечное число вариантов будущего карьерного роста? «Да! Да! Да! Все, как у тебя!» А как же быть с моим ночным беспамятством? «Это оставь себе!»

Воображаемый разговор прервался, едва начавшись. Он всегда прерывался на одном и том же месте.

Ну и что дальше? Поговорили? Теперь можешь топтать на свою важную работу ублажать осоловелых толстосумов и поражать их своими обходительными манерами и необычайной эрудированностью в юридических вопросах. Ничего, что опоздаешь к началу работы. Тебе это простят. Тебе многое простят. У каждого человека в самый неподходящий момент может оказаться какая-нибудь маленькая прихоть, которую можно понять и простить. Что уж говорить о таком пустяке, как желание опоздать на работу, возникшем в голове у человека, приносящего компании немалую прибыль. Пора было заканчивать этот жалкий и бесплодный спектакль одного актера и тащиться на работу, оставив свои проблемы и никому не нужные, не приносящие прибыли душевные терзания дома, до очередного раза.

Я так и сделал.

Четыре часа спустя, оставив на кухонном столе ключи от машины, кредитные карты, кое-какие документы и записку для жены, я уже смотрел в

окно купе пассажирского поезда, мчавшего меня... я не помнил, куда именно. Мне было все равно.

2

Заняв свое место в вагоне, я тут же, едва поезд тронулся, припал к окну. Не отрывая взгляда, я жадно смотрел на сменявшие друг друга поля и перелески, станции и полустанки, деревеньки с кособокими избами, то и дело мелькавшие в отдалении, реки и речушки, автомобили и мотоциклы, мчавшиеся по пыльным дорогам, стада, табуны, своры бродячих собак.

Во всем этом мне виделась другая жизнь, настоящая жизнь, не известная мне ранее, пьянящая своей естественной, первобытной свободой и простотой. И я заглядывал сквозь это окно в чужую, незнакомую жизнь, напугавшую бы любого, будь у него такое же безоблачное прошлое и такое же predetermined в своем успешном развитии будущее, как у меня, но в моей душе сейчас не было страха. Я смотрел на эту жизнь и хотел ее чувствовать. Я впитывал ее, как воздух, как солнечный свет после долгого мрака. В ней я видел избавление от наваливающейся на меня пустоты. В ней, я был уверен, спрятаны ответы на те вопросы, которые долгое время преследовали меня. Здоровая злость разливалась сейчас по всем моим жилам, придавая уверенности в себе и желания, всем чертям назло, быть самим собой, пусть я даже сейчас и не знал, хорош он будет, или плох, тот человек, которым я вознамерился стать. С ранних лет привыкнув к дисциплине и размеренно-поступательному движению жизни, я не знал, как мне обращаться с этой свободой, но несколько не беспокоился сейчас этой неизвестностью. Подстегиваемый духом бунтарства, так неожиданно, а, может быть, и вполне закономерно родившимся во мне, я наслаждался видом за окном и, не переставая, твердил про себя: «Живи своей жизнью, или за тебя ее проживут другие!» Слово вступив в незримый бой со всем окружающим меня до этого миром, все дальше и дальше загонявшим меня в темный угол, я победно улыбался, будто спрашивая кого-то неизвестного: «ну, что будет дальше?» Ощущая свою прошлую жизнь фальшивой, не настоящей, чужой, опьяненный смелостью и безрассудностью своего поступка, я рвался вперед, словно утиный подранок, застрявший по осени где-то в траве среди незнакомой ему болотной зыби, и увидавший сейчас пролетающую над его невольным пристанищем дикую стаю.

Сейчас мне было хорошо, удивительно хорошо и свободно. Цепляясь за эти крохотные мгновения неожиданно вернувшегося ко мне счастья, не желая делить его ни с кем, я смотрел в окно, улыбался и не думал о будущем.

Я не чувствовал угрызений совести перед женой за свое внезапное бегство. Она умная и добрая. Она все поймет. И она вправе с этой минуты сделать выбор – оставить все как есть, или, отринув прошлое в сторону, начать новую жизнь уже без меня. Я не хотел ее терять. Мне оставалось только надеяться.

Меня не беспокоили мысли об оставленной мною работе и покинутых клиентах. Подобная выходка не имеет прощения. Да! Такое не простят даже мне, удравшему из своего кричащего дороговизной обиталища без поданного заявления и даже без телефонного звонка. Ну и пусть! Это не вы со мной покончили, а я с вами! Жалкое сборище самоупоённых людишек, делающих деньги ради того, чтобы потом сделать еще больше денег, единственным смыслом жизни которых является рабское служение своей мощне и беспрестанное беспокойство о ее состоянии. Господин президент компании, я чувствую ваш гнев даже здесь, вдалеке от вас. Он доносится до меня дребезжанием грязных стекол и лязгом вагонных сцепок. Я слышу его, и он меня забавляет! Не укрощайте своего гнева, господин президент, доставьте мне еще немного радости.

Я отчетливо представлял себе президента компании в эту минуту: перекошенное от гнева холеное барское лицо с глазами навывкате и старательно зализанными назад редеющими волосами, ощетинившееся сейчас коллочками густых с проседью усов, делало его внушительную фигуру, упакованную в дорогой, но нелепо сидящий на своем хозяине костюм, комичной и даже карикатурной. Наверняка он сейчас трясся всем телом от охватившей его бессильной ярости, а вместе с ним тряслась и гневалась его неизменная дурацкая медалька (или, не дай Бог ошибиться, орден) лично врученная ему каким-то банановым монархом за заслуги в укреплении и процветании его банановой экономики. Гневайтесь, господин президент, гневайтесь. Сегодня ваш день.

Без сожаления оставлял я друзей, ни один из которых не являлся мне другом. Милые образованные и воспитанные люди, баловни судьбы и счастливики жизни, они предали бы меня при первой же опасности. Никто из них не был в состоянии пожертвовать хоть крохотным кусочком своего личного благополучия, чтобы помочь другому, будь такая помощь необходима. Их дружеские чувства не распространялись дальше привычного и совсем не обременительного круга взаимных обязанностей, которые позволяли гордиться собой и в нужный момент выгодно для себя демонстрировать готовность к их исполнению. Я знал о подлинной сущности моих друзей, но не отвергал их, и даже не пытался намекнуть им об этом. Стоило ли оставаться одному, когда сам не уверен, что чем-то отличаешься от них.

Теперь все это оставалось в прошлом, безжалостно затапываемое стуком колес уносившего меня поезда.

– Мама, а дядя тоже едет к бабушке?

Только сейчас, когда день клонился к закату, я заметил, что нахожусь в купе не один. Вместе со мной в нем ехали девочка лет шести или семи и ее мама – некрасивая, но с приятными чертами лица женщина, еще не растерявшая до конца некогда стройной фигуры, вплотную приблизившаяся, наверное, к своему сорокалетию. По виду она должна была иметь какую-нибудь хорошую рабочую профессию и олицетворяла собой тот незаслуженно и быстро забытый тип славных советских тружениц, о котором я никогда не переставал тосковать.

Девочка давно и с интересом разглядывала странного дяденьку, который за уже довольно длительное время совместного пути еще никак не проявил своей попутничьей сущности.

– Не знаю, милая, может быть. – дипломатично ответила женщина, видимо испытывавшая определенную настороженность по отношению к этому неожиданному и странному попутчику.

Попутчик был действительно странным и, видимо, его, то есть мой облик давал маме девчушки немалые и веские основания быть настороже: в дополнение к многочасовой гипнотической прикованности к окну попутчик не имел при себе багажа, даже занюханного полиэтиленового пакета с кроссвордами и дежурной вокзальной курицей не было; в довершение всего, попутчик был облачен в очень дорогой деловой костюм, который никак не вязался ни с железной дорогой, ни, тем более, с этим стареньким вагоном и этим наскоро убраным купе.

Чувствуя внезапно нашедшую на меня неловкость и вину за то, что я доставил своим странным поведением этим милым людям неудобство, я смущенно улыбнулся и произнес, глядя поочередно то на девочку, то на ее маму:

– Здравствуйте.

– А мы собирались ужинать. – убедившись, что я способен адекватно реагировать на окружающую обстановку, произнесла женщина, быстро доставая из разных мест укрытые до времени от постороннего глаза судки, свертки, пакеты и банки с разнообразной едой. – Отужинайте с нами. – искренне и с некоторым облегчением предложила она.

– Спасибо, я не голоден. – совсем неубедительно соврал я.

– Да как же, не голоден. Вы же, верно, целый день ничего не ели. Глядячи в окно, много не напитаешься. Присаживайтесь к столу.

– Присаживайтесь! – вторя матери, настаивала девочка.

– Да вы не переживайте, я куплю себе что-нибудь на станции.

– Где же вы сейчас что купите? – удивлялась моей непрактичности женщина. – Теперь до глубокой ночи вокруг одна безлюдная степь будет.

Вспомнив, что с момента моего ночного пробуждения я не съел даже хлебной крошки и, чувствуя, что голод являлся моим безраздельным хозяином сейчас, испытывая к тому же симпатию к своим попутчикам, я не хотел сопротивляться сделанному мне предложению.

– Я заплачу. – утвердительно кивнул я головой, расправив плечи и сняв с лица выражение неопределенности и нерешительности.

Перестав резать помидоры, женщина пристальным изучающим взглядом, не скрывавшим удивления и легкого замешательства, посмотрела на меня.

Взглянув на мать, девочка отложила в сторону пакет с вареной «в мундире» картошкой и повернула ко мне свое лицо, неумело стараясь скопировать выражение материнского лица.

Поняв, что сказал неуместную здесь глупость, я виновато улыбнулся и опустил глаза.

– Дядя шутит. – облегченно сказала женщина.

– Дядя шутит! – больше матери обрадовалась девочка, навряд ли в полной мере понимавшая причину ее удивления, и в голос засмеялась.

Следом за девочкой нервно и неожиданно громко рассмеялся я...

Это был замечательный ужин. Я давно забыл вкус простой домашней еды, забыл, какое наслаждение может вызывать посоленная крупной серой солью и сбрызнутая душистым маслом картофелина с четвертинкой луковицы вприкуску, заедаемая мясистым налитым спелостью помидором. Опускаю остальные подробности нашей трапезы. Они вам будут ни к чему.

В завершение всего мы пили чай с домашними пирожками.

Когда желудки были согреты горячим чаем и по всему телу разлилась ленивая сытость, вконец утратившая недоверие ко мне попутчица простодушно поинтересовалась у меня, куда же я держу свой путь.

– В Москву. – так же простодушно и вполне искренне ответил ей я.

Теперь уже обе мои спутницы одновременно уставили на меня свои изумленные лица.

Думая, что они восхищаются тем обстоятельством, что человек едет не куда-нибудь, а именно в Москву и у него там какое-то дело (а, может быть, он там даже живет!) и, радуясь произведенному на них эффекту, я скромно улыбался и несколько раз утвердительно кивнул головой, чтобы развеять последние сомнения в правильности услышанного ими.

Не теряя изумленного выражения лица, девочка повернула его к матери.

– Мама, ты же говорила, что к бабушке не через Москву! Ты перепутала, да?! – стала радостно допытываться она у матери. – Значит, теперь мы увидим Красную площадь, да?

Теперь настала моя очередь изумляться. Несмотря на то, что я ехал, куда глаза глядят, мне и в голову не могло прийти, что дорога в это «куда глаза глядят» может пролегать в стороне от Москвы. Это неожиданное открытие было для меня полной неожиданностью – все дороги ведут в Рим, но, оказывается, далеко не все из них ведут в Третий Рим.

Во второй раз за вечер я виновато улыбнулся.

– Дяденька шутит, Сонечка, дяденька все время шутит. – так же, как и я, во второй раз за вечер испытала облегчение Сонечкина мама.

Мы все рассмеялись: женщина – с облегчением, Сонечка – с легким сожалением, я – с едва скрываемой тревогой за свою самонадеянную беспечность и становящееся закономерностью умение попадать в нелепые ситуации, которое никогда не обнаруживалось у меня раньше.

– А то я думаю, как же это с нашего Урала, на юг, да через Москву. Уже, честное слово, подумала, что мы с Сонечкой не на тот поезд сели. Вы так серьезно это сказали: «в Москву!». Ох, и напугали же вы меня!

– Дяденька шутит, Сонечка. Дяденька все время шутит.

Тут она опять стала серьезной и пристально посмотрела на меня.

– А вы, наверное, юморист. Мне ваше лицо кажется знакомым, вас не показывали в телепередаче «Аншлаг»? Мне почему-то кажется, что там я вас и видела. Конечно, вы юморист! Это же у вас профессиональное, шутить с серьезным лицом. У вас и вещей-то при себе нет, это, наверное, потому что

постоянно в высоких сферах витаете. Да и к чему они вам? Вот приедете к югу, там, наверное, вас уже всё ждёт-ждется, по высшему классу. Ох, и не простой вы народ, юмористы. Сонечка, достань свою тетрадку с Микки Маусом, дядя даст тебе автограф... Вы не возражаете? – спохватившись, спросила она меня.

У меня не нашлось ни одной причины, чтобы возразить, и я взял в руки протянутую Сонечкой гелевую ручку, пахнущую клубникой. Видя, что этот запах привлек мое внимание, Сонечка с гордостью пояснила, что у нее шесть таких ручек и все стержни в них пахнут разными фруктами. «Какая гадость!», – подумал я про себя, занося ручку над чистым листом тетради. «Сонечке...», тут я застрял – известному юмористу требовалась известная эстрадная фамилия. Видя, что Сонечка и ее мама внимательно наблюдают за этим священнодействием и, желая скрыть возникшую заминку, я с ласковостью растлителя малолетних посмотрел на девочку и неожиданно приторным голосом, услышав который, я сам испытал кратковременный приступ тошноты, произнес:

– А какая же у Сонечки фамилия?

– Симакова! Симакова! – одновременно и радостно закричали Сонечка и ее мама.

За это время я успел придумать себе артистическое имя и с готовностью продолжил раздачу автографов, надеясь лишь на то, чтобы мое мнение в выборе собственного имени совпало с мнением Сонечкиной мамы.

«...Симаковой – желаю учиться на одни пятерки и быть послушной девочкой. Виталий Шнучкин», – усердно, как первоклашка, вывел я на тетрадном листе эту глупость. Далее, войдя в роль, я изобразил каскад витиеватых росчерков, позаимствованных у бывшего шефа. Дата. Жирная точка, пахнущая клубникой. Всё! Довольный собой, я протянул ручку ее хозяйке.

– Штучкин! Штучкин! Да, это были именно вы! – радостно захлопали в ладоши мама и дочка.

Фамилия чудаковатого профессора, который читал когда-то у нас в университете курс лекций по вполне серьезной дисциплине – международное публичное право, была именно такой, как я ее написал в Сонечкиной тетрадке. Этот профессор запомнился мне тем, что каждый раз вместо приветствия начинал свою встречу с аудиторией неизменной иронично-восторженной фразой довольно расплывчатого смысла: «Нуте-с, господа бездельники, что, скажите мне на милость, все выстроились в очередь за дипломом?!» Фамилия профессора, пришедшая мне в голову, была именно такой. Но мог ли я спорить с людьми, разбиравшимися в вопросах искусства лучше меня.

Я зарделся, словно невеста, и, потупясь, кивнул. У меня оставалась к ним только одна маленькая просьба – никому не говорить о том, что я артист. Радости моих попутчиков не было предела, и они с готовностью обещали держать мое имя в тайне.

Ну что ж, на юг, так на юг!

Чувствуя накопившуюся за день усталость, я кое-как постелил себе на верхней полке и, не умываясь, завалился спать.

3

В эту ночь мне не снилось ничего. Проснулся я поздно. Хорошо выспавшись и чувствуя невероятную легкость, я, наскоро облачившись в брюки и рубашку, бодро соскочил со своей полки на пол вагона и пошел умываться, прихватив на ходу казённое полотенце из постельного комплекта.

Стояло самое начало июня. Солнечное утро будоражило своим великолепием. Вдоволь наплескавшись холодной водой, я наскоро утерся полотенцем и вышел в коридор. Утро было, действительно, замечательным. Поезд на полном ходу несся к своей цели, в раскрытое окно влетал пьянящий сознание воздух, наполненный смесью ароматов скошенной луговой травы и степной полыни, запахов прелой листвы, неструганых досок, еще помнящих то, чем они были недавно, креозота и чего-то еще. Казалось, что в это утро мне улыбается весь мир, по крайней мере, две его составляющие – солнце и пассажиры вагона.

Весь день я провел наслаждаясь бездельем и свободой. Я весело болтал о каких-то пустяках с Сонечкой и ее мамой, выбегал на станциях за едой, по-свойски, стоя в коридоре у раскрытого окна, вел непринужденные беседы с соседями по вагону, которые, все без исключения, оказались очень милыми и учтивыми людьми. Иногда, с великодушного разрешения Сонечкиной мамы, к нам заходили в гости обитатели других купе, нередко набиваясь так плотно, что совершенно негде было сидеть. Это обстоятельство никого, в общем, не беспокоило. Мы пели песни, рассказывали друг другу какие-то невероятные истории и непрерывно шутили, громко при этом смеясь. Особенно громко смеялись, когда шутил я. Меня это невероятно вдохновляло, отчего хотелось шутить еще больше. С каждой моей новой шуткой смех в купе становился все громче, а атмосфера все непринужденнее. Никогда раньше я не замечал за собой ничего подобного! Никогда раньше я не знал такого веселья.

Меня совершенно не беспокоил мой внешний вид. Водрузив свой пиджак на крючок в купе, я вполне комфортно чувствовал себя в рубашке из белого батиста и брюках от делового костюма. Для удобства я лишь оборвал выше локтя рукава на рубашке и притоптал задники на туфлях. За целый день я так и не нашел времени, чтобы купить себе где-нибудь по дороге сменную одежду и бритву с зубной щеткой. Какой пустяк, когда вокруг тебя бьет ключом такая интересная жизнь!

Чем дальше я уезжал от дома, тем спокойнее становилось у меня на душе. Тем меньше я вспоминал свое казавшееся уже таким далеким прошлое.

Насыщенный новыми впечатлениями, новыми людьми, оживленным общением, шутками и смехом день пролетел незаметно. Спать улеглись поздно.

Во вторую ночь моего путешествия мне приснилась деревня. Никогда не виданная мной раньше деревня – настоящая русская деревня с бревенчатыми

избами, коровами на пастбище, лошадьми, впряженными в телеги, колодцами со студеной водой, сушеными фруктами, орехами и сеном, заготавливаемыми на зиму, прочим нехитрым деревенским бытом. Мое ночное видение было очень отчетливым: я мог в мелких подробностях описать лица деревенских баб и мужиков, их одежду, говор, запах махорки, запах терпкого конского пота, идущего от сбруи, или аромат заводимого у русской печи теста. Я видел кровати с коваными узорчатыми спинками, накрытые платками сундуки, ходики на стенах, иконы в углах...

Словно бесплотная тень, словно одинокий объектив покинутой всеми и внезапно ожившей телекамеры в длинных извилистых коридорах непонятного и странного музея, бродил я, никем не замечаемый, в своем сне из одного угла деревни в другой. Вот я оказался перед чьей-то распахнутой калиткой. Где-то в глубине двора звякнуло пустое ведро. Я вошел во двор. Закончив доить корову, молодая розовощекая женщина с головой, повязанной белым в крохотных васильках платком, переливала в хлеву из подойника в жестяное ведро молоко, пахнущее этими самыми васильками. Покончив со своим занятием, женщина откинула с ведра марлю, взяла его в руки и, слегка выгибаясь под тяжестью своей ноши, неспешно пошла к дому. Завороженно смотрел я на нее, не в силах пошевелиться. Проходя мимо меня, женщина подняла лицо, на секунду остановилась, вытерла тыльной стороной ладони пот со лба, улыбнулась мне так, как может улыбаться только мать своему ребенку, и, продолжив путь, вошла в дом.

В эту секунду я проснулся.

Какой странный сон. Ничего странного? Может быть. Может быть, если вы когда-нибудь раньше видели деревню. Тогда этот сон, действительно, был бы для вас приятным кратковременным наваждением. Но только не для такого промозглого горожанина, как я, сложившего свое мнение о деревне по художественным фильмам и телерепортажам с полей, и нога которого никогда раньше не ступала на деревенские просторы.

Какой странный сон. В моей груди что-то кольнуло, а потом защемило, не отпуская.

Что это?

Совесь.

Откуда и зачем?

Знать бы. Совесь лишь указывает тебе на правду, ничего не объясняя и не призывая ни к чему.

Говоришь, что хочешь обрести себя заново, что бежишь, куда глаза глядят? Ну-ну. Известно всем, где оно скрывается, твое «куда белки тарашатся», всему вагону. На южном взморье. Клоуна из себя изображаешь, народ тешишь, зализываешь душевные раны, вырвавшись из корпоративного рабства, а сам тихой сапой прешься в привычные для корпоратов, вроде тебя, места вашего летнего обиталища, мигрируешь по сезону, только в одиночку и без видимой помпезности.

Жалкий клоун. Ты даже билет брал с тайным прицелом.

Поезд стоял. Я выглянул в окно. Утро было в разгаре.

– Что это за станция?

– Вертуны. – с готовностью ответила откуда-то снизу Сонечкина мама. – Чаю не желаете с блинами?

Я не ответил.

– Да-да, уже чувствуется приближение юга. Вы чувствуете, Виталий, какой здесь необыкновенный воздух? Для вашей артистической натуры это, наверное, особенно необходимо. Ведь, наверное, столько творческих мыслей сразу приходит, когда дышишь таким воздухом. Теперь я понимаю! Вам же отдых на курорте просто необходим для профессионального восстановления, как шахтеру! Как же я этого, дура, раньше не понимала! Спускайтесь пить чай, а потом будем есть клубнику.

Я по-прежнему молчал.

– А может быть, вы хотите что-нибудь купить на перроне? Поезд стоит здесь двадцать минут – нас заправляют водой. Здешние торговки продают замечательные пирожки с творогом. И картошечку молодую, рассыпчатую, с зеленью. Вы только скажите, я сбегаяю. Мне совсем не трудно.

Знающие люди говорят, что не бывает снов не вещей. Я не стал ломать голову над разгадкой своего сна. Достаточно было того, что он вернул меня к реальности. Спрыгнув со своей полки, я всунул ноги в модельные туфли со стоптанными задниками и снял с крючка пиджак.

– Я приехал. – сухо, с едва заметным раздражением в голосе произнес я. – Регине Дубовицкой привет передать?

Ошарашенные мама с дочкой открыв рот смотрели на меня, с затаенным дыханием ожидая разоблачения очередной моей шутки.

Разоблачения не последовало. Закинув пиджак на плечо, я гордо проследовал по вагону, не спеша, сошел на перрон и, не оборачиваясь, пошел к выходу на привокзальную площадь. Сзади мне кто-то что-то говорил, потом кричал, но я не обращал на эти голоса внимания. Я знал, что сейчас мне в спину смотрит весь вагон. Да что там вагон! Я был зол на себя за то, что заигрался, за то, что играл этими людьми и позволил им играть собой. Какие бы клятвенные обещания не давала Сонечкина мама, я знал, что причиной невероятного добросердечия моих спутников по вагону была эстрадная знаменитость, едущая к морю снять усталость после многодневных съемок и аншлагов. Смогли бы они быть такими же добросердечными, узнай они всю правду обо мне? Черта с два! Еще бы обсмеяли с удовольствием. Как было не злиться на этих милых людей!

И я злился, все дальше удаляясь от них.

Я обогнул справа красивый, свежевыкрашенный сиреневой, голубой, розовой, желтой известью мягких тонов старинный вокзал с высокими сводами и вышел на большую привокзальную площадь.

Буйство здешней природы поражало: не умолкая, перебивали друг друга разноголосые птицы; справа, слева, спереди – отовсюду до меня доносились ароматы разнотравья и разноцветья; сновали взад-вперед бойкие торговки, спешили по своим делам пассажиры. И это все не где-нибудь, а в моей России! Что за чудное название – Вертуны! Оно мне уже нравилось. Я

уже полюбил его! Интересно, большой ли город, и где он находится? Скорее всего, где-то в южнорусских степях. Самого города (а я был уверен, что это именно город) отсюда видно не было. Он находился, видимо, где-то невдалеке, за ближайшими холмами и перелесками. Я совсем не следил за дорогой и теперь почти не ориентировался на местности, угадывая географию своего нахождения по щедрости солнца, поговору людей, по обилию растительности и разнообразию еды вокруг. Надо бы спросить у кого-нибудь. Да ладно, не все ли равно, где находится такая красота? Главное, что она вокруг тебя, и ты в состоянии к ней прикоснуться.

Мечтательно улыбаясь, я вдохнул этот пьянящий воздух полной грудью. В этот момент мне кто-то мягко постучал по плечу. Не желая расставаться со своей улыбкой, я медленно и чуть-чуть удивленно обернулся. Передо мной, с улыбкой, под стать моей, стоял милиционер. Маленький, коренастый, курносый блондин с добродушным лицом, примерно одних со мной лет. Фуражка на его голове была плотно надвинута по самые уши, без форса, чтоб не слетала при беге. Несмотря на это, я готов был поклясться, что голова у него была вихрастая. Переносная радиостанция, дубинка, наручники, пистолет в не по уставу фасонистой «под морскую» кобуре, баллончик со слезоточивым газом – все было при нем. «Техасский пейджер», – озорно подумал я про себя, передразнивая то ли должность, то ли киношное прозвище героя Чака Норриса из популярного сериала. Он не мог мне не нравиться. Ведь он был частью этого чудного места, в которое я влюбил себя, едва сошел на перрон.

– Куда едем? – почти пропел милиционер, не переставая улыбаться мне.

Будто прощаясь со мной, свистнул мой поезд и покати от станции прочь.

– Не знаю. – влюблено глядя на сержанта, и почему-то тоже нараспев, ответил я. – Путешествую. Может, у вас останусь.

– Почему бы и нет. Документики у путешественника имеются? – благодушно поинтересовался блюститель порядка.

– Конечно. Одну минуту.

Я засунул руку во внутренний карман пиджака, туда, где обычно хранил свой паспорт. Почувствовав простор, мои пальцы шустро забегали по стенкам пустого кармана.

– Чёрт. Я сейчас. – виновато улыбнулся я и засунул руку в другой карман. Паспорта не было ни в этом кармане, ни в остальных.

Наверное, у меня в тот момент было очень идиотское выражение лица, потому что улыбка милиционера стала еще шире, а глаза еще добрее.

Зная, что паспорта мне уже не найти, но, не желая признавать свое поражение, я упорно обшаривал карманы брюк и рубашки. Пусто. Я не терпел бумажников, поэтому вместе с паспортом растаяли вложенные внутрь него деньги и припасенная на черный день кредитная карта, которую хранил под обложкой удостоверявшего до недавнего времени мою личность документа.

– Потеряли? – участливо спросил милиционер.

– Видимо, да.

Несмотря на то, что я сам устроил в собственном купе проходной двор, бросив и паспорт, и деньги на произвол судьбы в кармане пиджака, болтавшегося на крючке у самой двери, я не хотел думать, что паспорт, а вместе с ним и деньги, у меня украли. Разве мог кто-нибудь из этих так полюбивших меня людей, решиться на такую гнусность. Нет, уж лучше пусть будет «потерял». Наверное, они кричали мне вслед, чтобы вернуть оброненным мной паспорт, а я не слышал, не захотел их услышать!

Меня опять начинало заносить. Голос сержанта вернул к реальности.

– Пройдёмте.

Деликатно, почти как кавалер барышню, он взял меня за руку выше локтя и повел куда-то в сторону от вокзала. Я не сопротивлялся.

Мы шли довольно долго. Никто из нас не проронил за дорогу ни единого слова. Вскоре мы пришли к неказистому облупленному одноэтажному домику, весь внешний вид которого резко контрастировал с великолепием вокзала. Со всех сторон домик был окружён пакгаузами, складами, сараями, какими-то бочками, цистернами, ящиками, штабелями тарных поддонов, сложными металлическими конструкциями, зачем-то выстроенными здесь. Обильное нагромождение всего этого, как мне показалось, совершенно не нужного здесь и, наверняка не используемого, вызывало ощущение того, что домик находится посреди большой свалки. Где-то далеко, если смотреть за домик, взяв направление чуть левее от него, виднелся гигантский пустырь, упиравшийся в «свалку». Что находилось за ним, отсюда уже было не разглядеть. Перед домиком стоял выдавший виды старый, очень старый милицейский уазик ядовито-зелёного цвета, непонятно каким образом нашедший дорогу к нему среди всего этого «мусора». Над крыльцом, слева от входа, красовалась большая стеклянная вывеска, на которой могучими золотистыми буквами на потускневшем от времени красном фоне было написано:

МВД СССР

Юго-Восточное УВД на транспорте

Ядрышниковский ЛОВД

Линейный пункт милиции на ст.Вертуны

Особых оснований для беспокойства я пока не видел, но все же, меня охватил легкий испуг. Эта вывеска с надписью «МВД СССР» на захолустном милицейском домике, затерявшемся где-то на просторах дикой капиталистической России середины девяностых, была как привет из прошлого мне, рвущемуся в будущее.

Открыв дверь, сержант пропустил меня вперёд, и мы оказались в каком-то тесном и темном тамбуре. Миновав тамбур, оказались в коридоре, освещенном двумя, мерцавшими под самым потолком подслеповатыми лампочками с железными абажурами. По обе стороны коридора я насчитал по две обитых старым облупившимся дерматином двери. На каждой двери крепилась стеклянная табличка, сообщавшая посетителю какую-то служебную

информацию: «инспектор уголовного розыска», «комната дежурного наряда», «комната для задержанных», «комната отдыха». Таблички были такими же кроваво-золотыми и торжественными, как и вывеска при входе. Табличка «инспектор уголовного розыска» зияла по центру пустой глазницей – ни звания, ни фамилии обитателя кабинета. Ничего. На стенах вдоль коридора висели стенды с изображением портретов советских героев-милиционеров и описанием их советских милицейских подвигов. Небольшой коридор заканчивался массивной двустворчатой филёнчатой дверью, выкрашенной когда-то очень давно голубой краской. На двери, выше огромной кованой ручки, имевшей такой же голубой цвет, как и дверь, красовалась табличка. В отличие от вывески при входе и остальных табличек, на ней красными были буквы, а фон же, наоборот – золотым. Красные буквы очень красноречиво указывали на то, что за этой дверью несет свою службу «начальник ЛПМ». Чуть ниже, в специальном окошке на этой же табличке, был вставлен клочок бумаги, на котором пишущей машинкой с хромными буквами «м» и «о» было выбито: «капитан милиции Николай Иванович Хромов». «Буквы под стать фамилии», – подумал я, входя в кабинет.

Это был просторный и светлый кабинет, вытянувшийся от одного угла домика до другого. Обстановка кабинета никак не выбивалась из общего интерьерного «стиля», царившего вокруг: слева вдоль стены располагался большой «сталинский» двухтумбовый стол, крытый зеленым сукном; на столе – массивный черный телефон, стопка газет и стопка тоненьких шнурованных папок, графин с водой; рядом с ним, будто приглашая сообразить на троих, тёрлись три тонкостенных стакана с красными ободками; вдоль стен кабинета стояло два ряда жестких откидных кресел; в левом от стола углу спрятался огромный сейф, каких уже не встретишь нигде; в другом углу – деревянный шкаф с зашторенными стеклянными дверцами; напротив входной двери, у окна – тумбочка с печатной машинкой на ней; вдоль противоположной столу стены – массивный обитый черной кожей диван с подлокотниками-валиками. Где-то внутри стола похрипывала радиостанция, а над входной дверью мягко, едва слышно изливал музыку радиоприемник. Да, еще портрет Дзержинского в рамке над столом. Во всем этом кабинете чувствовался запах истории, терпкий и неопределимый по составу. Такого запаха вы не встретите в стерильных музеях, больше напоминающих больницы. Так пахнут места, в которых время законсервировалось естественным путем, без благородного вмешательства людей научного труда.

Приглядевшись, я всё-таки увидел справа от себя, в дальнем углу, за диваном, вещь, безусловно, свидетельствовавшую о том, что я не сошел с ума или открыл временной проход в прошлое. Это был компьютер. Вполне современный для той поры компьютер.

– Во, дядь Коль, гляди какого Афанасия привёл! – радостно произнёс сержант, усаживая меня на стул.

От стола до меня донеслись какой-то шорох, и едва заметное шевеление и, только тогда я заметил, что помещение обитаемо. Послышался звук задвигаемого ящика, потом чуть слышно скрипнула закрываемая дверка стола и

над ним возникла грудная фигура офицера милиции, которая, видимо, и была дядей Колей.

Офицер (на вид ему было около сорока пяти лет, может быть, чуть больше) был в звании капитана, лыс, скуласт усат и крепок, несмотря на свое сухощавое телосложение и невысокий росточек, в котором не возникало сомнений даже при сидячем его положении. А в общем, лицо он имел добродушное, совсем как у сержанта, и я даже подумал, что их лица имеют определенное сходство.

Выпрямившись на стуле, капитан вытер руки огромным носовым платком, который он скомканным шаром извлек из кармана своих брюк, а затем, ни к кому конкретно не обращаясь, беззлобно посетовал:

– Совсем житья не стало от этих мышей. Всё вокруг пожрали, теперь за казенное имущество принялись, Чуть не лишили меня планшетки. Надо бы Макарьевне сказать, чтоб крысиного яду намешала погуще. Будем обороняться.

Видимо ему очень понравилась последняя произнесенная им фраза, потому что вслед за этим, он довольно засмеялся, разглаживая правой рукой свои пшеничные усы.

– Вишь, какие дела творятся, Афанасий! – с улыбкой сказал он, развернувшись на своем стуле всем корпусом и обратившись ко мне.

– Я не Афанасий. – спокойно возразил я.

– А кто ты? Жан-Поль Бельмондо? – смеясь, произнес капитан. – Не тянешь на Бельмондо. Никак. Самый настоящий Афанасий и есть. Ходок за пять морей.

После этого, он снова благодушно засмеялся, задрав скуластое лицо к потолку.

– Ты не обижайся. – дружески хлопнул меня по плечу сержант. – Это дядь Коля всех бомжей-путешественников так называет. Сказку про купца Афанасия Никитина слышал? Про того, который ходил за пять морей в Индию, потому что его бандиты с товаром опрокинули и кредиторы потом долг предъявили? Ну так и выходит, что ваш брат – все сплошь Афанасии. Только каждого своя дорога в бомжи привела.

– Это не сказка, а исторический факт. И я не бомж. – как можно достойнее, ответил я.

– Умный, да? Умных я люблю. – с прищуром и не теряя ласковости во взгляде посмотрел на меня капитан, – Ну да ладно, разберёмся.

Он пододвинул стопку с папками к себе поближе и начал что-то в них озабоченно искать.

– Да чего там разбираться! – горячо и с нажимом произнес я, видя, что «дядя Коля» никуда не торопится. – Человек потерял паспорт в дороге, с кем не бывает, я вам назову адрес и телефон, вы проверите, и все сразу встанет на свои места. Мне всё пришлют, и деньги, и документы. Я уважаемый человек. Мне нужно только позвонить.

– Ну-ну. Наполивал тут. – с хитрецей произнес капитан. – Андрюха, ты его шмонал?

– По всем правилам! – соврал Андрюха и недовольно зыркнул на меня.

– Пусто?

– Как в решете.

– Ну вот, «уважаемый человек», а ты говоришь – деньги, документы. Тебе в зеркало заглядывать почаще надо, тогда бы ты и слов таких дурацких не произносил, и время мое не отнимал. А насчет одежды твоей, мы ещё тоже разберёмся – с кого ты её снял. Следствие установит. – он опять негромко засмеялся.

Тут я понял, что, действительно своим видом похожу на бомжа, который обобрал до нитки уважаемого гражданина: небритое лицо, нечёсанные волосы, потерявшая свой изначальный цвет рубашка с оборванными рукавами, мятые брюки, стоптанные туфли... Доигрался, клоун! Но я не хотел сдаваться.

– Какое следствие! Вы что, с ума сошли? Я сам – юрист и законы знаю. Вам не сойдет с рук этот произвол, если вы не одумаетесь. – горячо внушал я капитану.

Сделав мечтательное лицо и подперев голову рукой, капитан молча, будто любуясь, уставился на меня. Сержант тихо похохатывал, сидя на диване.

После долгой паузы, капитан вновь заговорил:

– Ты ещё и юрист. Ну так иди ко мне опером. У меня опера нет. Как кума Данилыча на пенсию проводили, так и по сию пору нет. Почитай почти целый год уже прошел. Дело не пыльное, семейное. На Вальке моей женишься. Ух, какая девка!.. Ко мне какой только люд не жаловал. И доктора были, и учёные – ботаники, больше похожие на физиков, инженеры были, попы-расстриги... Юрист – первый. Первый ведь, а, Андрюха?

– Точно!

– Так, пойдешь, или как?

После этих слов оба милиционера засмеялись.

Поняв, что преимущество не на моей стороне, я решил вести разговор в тон капитану, чтобы выиграть время и хоть как-то сориентироваться в возникшей ситуации.

– Так как же я пойду к вам без документов? Нельзя же.

– Можно. – оскалился капитан. – Если очень нужно, то можно.

– Ну тогда, наверное... – начал было поддерживать тему я.

– Можно, говорю. – капитан громко хохотнул. – Только тебе нельзя. Потому что не нужно тебе, Афанасий! – довольно оскалившись закончил он.

После этих слов воздух в кабинете начальника ЛПМ сотряс дружный и громкий хохот двух глоток.

Да! Каким же наверное жалким был мой вид!

Надо мной откровенно издевались. Я потребовал адвоката, затем прокурора, затем телефон, потом просто уважения к себе, но, видя, что мои слова только еще больше веселят представителей власти, я замкнулся.

...Проснулся перед рассветом.

Лёжа на спине, я разглядывал сквозь узкую щель в дверном проёме, видневшуюся где-то под самым потолком, одинокую звезду и пытался угадать, есть ли на ней жизнь. После долгих раздумий, я пришел к выводу, что она сама и есть жизнь, такая же одинокая, как и я.

Занимавшийся рассвет начал пробиваться сквозь грязные оконца моего обиталища, и я стал его неспешно рассматривать. Это был просторный, добротный, сложенный из известняка, разделенный надвое огромной балкой с двумя подпиравшими её исполинскими столбами сарай, который когда-то давно вполне мог иметь иное назначение. По всему периметру этого довольно высокого сооружения, почти под потолком, находились подслеповатые, никогда не мывшиеся окна. Одну часть сарая занимал различный хозяйственный инвентарь: косы, лопаты, ведра, бочонки, носилки, грабли, рубанки, верстаки, ножовки, тележки и еще много чего другого. Вторая часть, видимо, была жилой. Сейчас в ней дрых замурзанный тщедушный мужичок неопределенного возраста, к которому теперь добавился и я. Вход в сарай (высокая дощатая двустворчатая дверь) находился в жилой половине. Слева, метрах в трёх от входа, у стены, был сооружен широкий топчан, застеленный старым матрасом и парой старых солдатских одеял. На нем я и лежал. Дальше, у противоположной входу стены, почти в углу, находился второй топчан, на котором спал тщедушный мужичок. В центре, у самой границы двух половин сарая, стояла плита-буржуйка с уходящей ввысь трубой. Недалеко от нее стоял сколоченный из аккуратно выструганных досок стол, возле стола – два табурета. И всё. С некоторым удовлетворением для себя, я отметил, что это мое обиталище вполне годилось для жилья. В нем чувствовалось даже определенное наличие комфорта. За счет чего это достигалось? Подумав, я решил, что все же, за счет угадываемого во всем порядка, а еще, видимо, за счет всевозможных пучков сушеной травы, веников и мешочков, развешанных по стенам тут и там и создававших определенный эффект присутствия в человеческом жилище.

Меня привели сюда вечером, когда уже темнело. Сопровождали двое – Андрюха и подошедший ближе к вечеру другой сержант, чуть моложе Андрюхи, такой же маленький и улыбчивый, как и Андрюха с «дядей Колей». Весь тот день я без всякого смысла проторчал в милицейском домике, где капитан, недолго позубоскалив, оставил вскоре меня в покое. Велев сесть в уголок дивана, он оставил Андрюху за старшего и укатил куда-то на своем узике. Вернулся к концу дня, видно было – уставший, но такой же улыбчивый, как и утром. К этому времени сержантов в домике было уже двое. Многозначительно сказав, что человеку, какой бы он там ни был, а требуется отдых и собственный угол, он вытащил из машины и передал Андрюхе какую-то сумку и отправил меня с сержантами «определяться». Что это значило, я понял, только оказавшись в конечном пункте нашего похода.

Мы шли от милицейского домика в сторону пустыря через бесчисленные нагромождения ящиков, бочек, штабелей, сараев и складов. Шли не торопясь. Сержанты весело болтали между собой о каких-то своих житейских делах, однако, не выпуская меня из виду. Я же тупо глазел по

сторонам, безразлично выхватывая взглядом из сумерек попадавшие на пути предметы. Я не строил никаких планов, не думал о побеге и совсем не хотел думать о том, что же будет со мной. Все мои юридические знания, которыми я совсем недавно так радовал толстосумов и которым, как отражению своего реноме, тщеславно радовался сам, казались мне сейчас смешными и не имеющими никакой практической ценности. Они просто испарились из моей головы за ненадобностью и растворились в сгущающихся сумерках. Я отметил про себя, что без них стало легче. Воля к сопротивлению обстоятельствам покинула меня. «Ты сам виновник этого бреда. Ты хотел этого, стремился, вот и наслаждайся», – корили меня, нынешнего, жалкие остатки другого меня, еще не успевшие забыть о существовании прошлой, вполне благополучной и обеспеченной жизни.

Минут через двадцать пути, а, может быть и больше, уже в плотных сумерках мы пришли к этому самому сараю, стоявшему в том месте, где начинался виденный мной раньше огромный пустырь. Сержанты завели меня внутрь сарая, а затем Андрюха достал из сумки какие-то вещи и бросил их на топчан.

– Перекинься.

Без возражений я стал переодеваться, облачившись в ношенные джинсы, такую же, но вполне еще приличную футболку синего цвета, серую клетчатую рубашу и абсолютно новые, блестящие гляncем черные казённые полуботинки.

– Вот так-то удобнее будет. И на человека больше стал похож, Афанасий. – удовлетворенно произнес Андрюха, с неизменной детской улыбкой оглядев меня с ног до головы. – Баня в субботу. Тогда и отмоешься. Ну, бывай. Потопали мы. Не дури тут.

Сказав это, он на миг стал серьезным и пристально посмотрел мне в глаза, давая тем самым понять, что к его словам нужно отнестись с должным вниманием. Затем он вновь вернул на свое лицо улыбку и стал укладывать мои, теперь уже бывшие вещи в сумку.

Забрав мою старую одежду, сержанты вышли из сарая и, оставив его двери распахнутыми, растворились в темноте. Я остался один в темном нелюдимом помещении, не зная, зачем я здесь и надолго ли я здесь. Очень хотелось есть. Я, вдруг, вспомнил, что с самого момента пробуждения и моего пижонского бегства с поезда, ничего не ел. Лёг на топчан и попробовал уснуть, но голод не давал мне сделать этого.

Какое ужасное ощущение от неумолимо растущего, как фурункул на шее, голода! Этот бестолковый и непонятный день отнял у меня слишком много сил. Впервые в жизни я голодал по-настоящему. Мысль о том, что вокруг, в этой незнакомой темноте, нет никого и ничего, что смогло бы избавить меня от этого голодного одиночества, только усиливала чувство голода и нагоняла страх. Чтобы голод не казался таким сильным, я свернулся в клубок на топчане и попытался сосредоточиться на какой-нибудь дельной мысли. В первые минуты все мысли упорно соскакивали на гастрономическую тему, но потом я кое-как исхитрился обмануть свой желудок.

Я подумал, что раз дверь не заперта, то можно уйти отсюда. Но куда идти? Мне, хоть и кое-как, была известна всего лишь одна дорога – к милиционерскому домику. Можно было постараться миновать домик и выйти напрямиком к вокзалу, но там, нелепо одетый, грязный, без денег и документов, скорее всего, я бы снова очень быстро попал «в руки правосудия» и вернулся бы к тому, с чего начинал свое бегство. Можно было бы пойти наугад, через пустырь. Но, кто его знает, придешь ли ты туда, куда стоило приходиться и не окажется ли этот сарай местом, куда более лучшим чем то, другое. К тому же, двери улыбочивые милиционеры оставили незапертыми, видимо, неспроста. Видимо, им незачем их запирали. Стали бы они так поступать, если бы знали, что я могу сбежать. Ведь зачем-то я им был нужен. Зачем? Да и нужен ли я им вообще?..

Я очень люблю поспать. Это обстоятельство, присовокупленное к минусам ночной неизвестности и навалившейся на меня апатии, стало решающим и я вторично попытался уснуть.

Меня уже охватила легкая дрема, когда я услышал в темноте какой-то легкий шум. Вскочив со своего топчана, я безуспешно вглядывался в темноту, пытаюсь определить источник этого шума и степень его опасности для себя. Через две или три секунды после этого, чиркнула спичка и над столом зажглась керосиновая лампа, крепившаяся на длинном металлическом крюке, свисавшем с балки. Зажегшим ее человеком оказался тщедушный мужичок в добротном, но порядком поношенном, «плотницком», как я его для себя назвал, пиджаке. Повернувшись в мою сторону, мужичок увидел меня и, несколько не удивившись, обращаясь ко мне, будто к старому и хорошему знакомому, произнес:

– А, Афанасий, ты уже здесь. Иваныч тут ужин тебе передал, садись к столу, пока горячее.

Из старой хозяйственной сумки, стоявшей на столе, он извлек стеклянную банку с чем-то очень вкусно пахнущим, краюху черного хлеба, небольшой кусок сала и пару луковиц. Сноровисто, видимо, привычно, мужичок накрыл на столе простой, но такой манящий ужин.

– Я не Афанасий. – гордо и с заметным раздражением в голосе произнес я.

Мой разум уже почти свыкся с моим бесправным положением перед людьми в погонах, таким наглым образом, узурпировавшими власть над попавшим по своей вине в глупую историю человеком, но я не хотел уступать какому-то сморчку, которого бы я раньше и взгляда не удостоил.

Мужичок молчал, занятый приготовлениями.

– Меня зовут не Афанасий. – громче и отчетливее произнес я.

– Да знаю я, знаю. Ты садись, Афанасий, а то остынет. – никак не реагируя на мой тон, произнес мужичок. – Поужинаешь, оставь все как есть. Утром уберу. Лампу только загаси.

С этими словами, он, почесываясь и позевывая, скинул пиджак с ботинками и завалился на свой топчан. Уже через минуту он сладко посапывал.

Мне не оставалось ничего, как в очередной раз за день проглотить горькую пилюлю унижения, а затем зажевать ее наваристой картошкой с хорошим куском куриного мяса, приготовленными для меня на столе, и которые я, несмотря на мучивший меня голод и отменный вкус этой еды, проглотил без особого аппетита.

Погасив лампу, я лег на свой топчан и тут же погрузился в глубокий сон.

...Когда солнце уже всю принялось запускать щупальца своих лучей в щели и окна сарая, я затылком ощутил, а затем услышал, что мужичок проснулся: громко зевнув во весь рот, он удовлетворенно крикнул, а затем, после непродолжительной паузы, резко поднялся со своего ложа.

Поднялся и я.

Слегка щурясь и еще немного сонно почесываясь, он приветливо улыбнулся мне и бодро произнес:

– Доброе утро!

Я не ответил.

– Меня Афонькой зовут. – сразу представился он.

Уже заинтересованно я посмотрел на него.

Мужичок слез с топчана, всунул ноги в старые летние туфли рыжего цвета и взял в руки стоявшее в углу ведро. Это было сухонькое человеческое существо ниже среднего ростом, лет под пятьдесят, с соломенными давно не стриженными зализанными назад реденькими волосами, сквозь которые на темени проглядывала большая лысина. Существо было скуластое, имело белесые ресницы и брови, такие же белесые глаза и дурашливое выражение лица, за которым угадывались изрядное лукавство и природная смекалка.

Позвякивая ведром, Афонька пошел к выходу из сарая, на ходу легонько мотнув головой.

– Пошли умывацца.

Я пошел. Сам не знаю почему, но этот человек становился мне интересен.

Мы долго и с удовольствием плескались водой, которую набирали ведром из стоявшей на углу возле сарая большой деревянной кадки, сливая друг другу, а потом яростно терли свои лица и шею подолами рубах.

Я всегда считал себя сильной личностью и лидером, но естественная простота Афоньки, всё его поведение и умение держаться с особым, каким-то данным ему, плюгавенькому мужичку, природой достоинством, не содержащим в себе ни намёка на злобность характера или человеческую заносчивость, обезоруживали меня лучше всякого приема борьбы и я безропотно, даже с некоторым удовольствием, подчинялся его словам.

– Ну вот теперь могём и позавтракать, а? – сияя лицом, обратился он ко мне, аккуратно зачёсывая беззубой расчёской свои реденькие волосы.

Удивительным образом, Афонькино настроение передалось и мне, прогнав уныние и ощущение пустоты и безысходности. Я энергично кивнул.

Мы позавтракали остатками моего ужина, а так же извлеченными откуда-то из Афонькиных «закромов» солеными огурцами и неизвестной мне ранее удивительно вкусной ягодой, которую ели с хлебом.

После завтрака Афонька так же сноровисто, как и накрывал вечером, убрал все со стола. Я пытался, было ему помочь, но он махнул на меня рукой «ещё успеешь», и я уступил. Выйдя на свежий воздух, я уселся на огромный обломленный камень, вероятно, бывший когда-то частью мельничного жернова, а сейчас лежавший без дела у стены сарая.

При утреннем свете я внимательно разглядывал окрестности, пытаюсь определить, что это за место. Перед моим взором простирался огромный пустырь с чахлой, почти безжизненной травой. Пустырь полого и лениво уходил от сарая вниз, а потом так же полого и лениво поднимался вверх, образуя небольшую ложбину, по самому дну которой в этот утренний час еще блуждали сгустки тумана. По кромке пустыря, на возвышении, в километре, а то и в двух, а, может быть даже в трех от сарая, перемежаясь виднелись небольшие лески и заросли кустарника. Откуда-то справа, от видневшегося в отдалении небольшого промежутка между островками растительности к сараю немного петляя, вела едва заметная, накатанная колёсами в траве, дорога. Никаких признаков близости жилья или оживленной автомобильной трассы не было. Иногда из-за моей спины, из-за сарая, до меня едва слышно доносился «шепот» локомотивных гудков. Мне не было нужды вставать со своего места и разглядывать то, что было за моей спиной и за сараем. Что было там, я уже знал.

Управившись, Афонька тоже вышел наружу и сел рядом со мной. Мы долго задумчиво смотрели вдаль, не произнося ни слова. Каждый из нас думал о своём. Я не знал, о чем думает Афонька, но, наверное, он думал о чем-то приятном, потому что мне хорошо и спокойно думалось рядом с ним.

Я размышлял о превратностях судьбы и о столь быстрых и невероятных превращениях, которые могут произойти с человеком. И что для этого надо совсем немного, только решиться и сделать первый шаг, а дальше будет то, что даже вообразить себе не всегда возможно, что привело бы тебя в ужас, знай ты об этом заранее, а сейчас являлось только фактом, всего лишь одним из моментов твоей жизни, который тебя почти не тревожил. Я поймал себя на мысли, что даже такая обездоленная неизвестность может быть приятной и что даже в такой жизни можно увидеть немало интересного.

– Мельня тут была, давно. – будто прочитав мои мысли, не отрывая взгляда от пустыря словно рыбак, опасаящийся прозевать поклевку, произнес Афоня. – Давно была... Вообще-то меня Мишкой зовут... звали когда-то. Я уж и не признаю, если меня Мишкой окликнут. Афонька я, и всё тут. Все мы Афоньки.

– Это кто все?

– Ты, да я, да мы с тобой. – туманно ответил мне Афонька, который раньше был Мишкой.

– И как же ты? – получив неопределенный ответ, неопределенно спросил я.

– А ничё. – добродушно вздохнув, ответил Афоня. – Я ведь сам из псковских, из колхозных. Плотник я был. Хороший плотник (тут я подумал, что верно угадал насчет «плотницкого» пиджака). Покуда колхоз стоял, была жисть. Жёнка дома с ребятней сидит – я деньгу приношу. Потом все враз поменялось. Как начали страну «перестраивать», так мне в избе пришлось засесть, а жёнка в потники подалась – день и ночь пилит меня и пилит, стружку снимает почище любого фуганка, мол, сижу трутнем на ейном многодетном пособии и пользы от меня никакой. Четверо их у меня, вишь – три девки и пацан, меньшей. Вот я и подался куда глаза глядят в поисках лучшей доли, да заработков хороших. Там ходил, да сям бродил, к тем, да к этим нанимался. Везде было одно и то ж – сулили много, да насыпали мало, а в иные разы благодарен был, уже за то, что жисть мою никчёмную оставляли мне.

– Как это, никчемную? – возмутился во мне внезапно вернувшийся юрист. – Жизнь есть важнейшее благо, дарованное человеку самим фактом его рождения и охраняемое законом.

– Вот я и говорю, – невозмутимо продолжил Афоня, – спасибо им, добрым людям, за то, что, чтя и уважая закон превыше всего, они бороли в себе недоброе искушение и ни разу не исполнили свои душегубские помыслы.

– Откуда ж тебе известно об этих помыслах?

– Э-э-э, человек хороший, вот как накинута тебе удавочка на шею в безлюдном месте, так и подумаешь сразу – шутят ли? Потом сам себе и ответишь – нет, не шутят. Серьезно это у них.

– И за что ж это тебя?

– А когда как. Когда из жадности, чтобы не платить; когда из высокомерия – вошь безродная, а денег требует; а когда из жестокости, это когда крови человеческой хочется пуще всего остального; вот и ищут, кого послабже, да понеприметнее. А уж кто же может быть слабже и неприметнее нашего беспородного и неприютного брата. Жесток нынче стал человек. Жаден и жесток. Оттого и беды все творятся и несправедливости. Ржа поедает людские души. Нет сострадания и нет благодарности.

Мне все больше и больше нравился этот человек.

– А здесь что же? – пытался я до конца постичь его философию. – Чем же для тебя рабство лучше смерти?

– Рабство? Да рази ж это рабство? Хочешь – уходи, а не хочешь – не уходи, только куда пойдешь-то? Да и зачем?

– Как куда? Домой! Затем, чтобы стать свободным.

– Домой-то? Можно и домой, да только чем оно лучше, дома-то? И ждут ли? Восемь годов не был. Боязно. А свободы и тут хватает, надо её только почувствовать. От этого она тебе только краше будет казаться.

– Постой-постой! – разгорался во мне интерес. – Ты как сюда попал-то?

– Да так и попал, вечерней лошадьёю.

– Это как?..

– Шутю я так. – улыбнулся Афоня, видя мое лёгкое недоумение. – Ходил-ходил по миру, мыкался, да тыкался, как щенок слепой по углам мордой тыкается, да и прибился сюда. Меня Иваныч, как и тебя, на станции подмёл...

Знаю-знаю – всех там подметают. Больше нигде... Так я и прижился тут. Нет, ты на Иваныча не обижайся. Он мужик, хоть и смешливый до едкости бывает, а вредности в нём нету. Нету.

– Так если ты говоришь «всех», то, где же эти все? И какой резон их собирать, да сволакивать на эту «свалку» без охраны, если уйти можно? Человеку же, кем бы он ни был, свобода нужна. Это ты один такой уникальный. Я, вот, огляжусь немного, да потопаю отсюда.

– Эва, свободный какой. – иронично усмехнулся Афоня. – А куда потопаешь-то?

– Как куда? Да я, знаешь кто? Знаешь, я какой человек? – заводился я.

– Знаю. Бомж Афанасий. – весомо произнес Афоня и тут я осознал, что несмотря на чудовищную нелепость ситуации, несмотря на то, что мне доподлинно известно, что где-то есть жизнь, которая еще способна принять меня обратно, жизнь, которую я ещё ощущал своей, я не смог ему возразить. Мне нечего было сказать против.

– А спрашиваешь, все-то где? Так тута все, в Слепокуровском. Со временем тако все прижились, да прибились кто к кому. Кто женился, кто подженился, вот и выходит, что польза. Был бомжара – стал мужик, был Афоня – стал... ну, в общем, кем был по метрике, тем и стал. А на меня ты не гляди – я по бабам не ходок, да и скучно мне в домашнем хозяйстве-то. Я простор люблю и помечтать тожа люблю.

– В общем, бездельник ты. И от семьи ушел потому, что хлеб на такую ораву добывать не хотел. А не платили тебе, вероятно, оттого, что работать не любишь и платить тебе не за что было.

– О-хо-хо, милый человек. – горестно и чуточку иронично вздохнул Афоня. – судить-то другого легко, а ты сам проживи эту жисть, как Бог велел, по совести, тогда и поглядим, на какой ноте твой аккордеон запоёт. Так-то.

В очередной раз за сегодня я понял, что прав был не я, а этот полуграмотный мужичок. И правда его была не книжная, выпестованная, выдрессированная и вбитая в людские головы не одним поколением учёных умников, а народная – простая и красивая в своей естественной наготе.

– Вот, говоришь, неужто все остались? Так я отвечу – нет, не все. Был тута один, лет с пяток назад (были и другие, но те, как пришли, так и ушли, никак своим появлением не наследив в истории здешних мест, так что об них и нет надобности говорить)... Был тута один. Вроде тебя, по виду – так же волосом чёрен, лицом смугл, высок и худ, только лицо имел глупое, без красоты как у тебя. Так тот юлил не переставая. Всё канючил, да изворачивался. Вот, кто бездельник был, каких свет не видывал. Факт! Месяца два пробыл, не более, а потом слинял втихую. Утёк, ну и ладно. Что за беда? В другой раз не сунется. Да только потом с верхов комиссия при больших погонах нагрязнула. Так мол и так, капитан Хромов, людей похищаем, в рабстве держим. Этот сучёнок наклеузничал...

– Ну. – не выдержал я, подгоняя сделавшего долгую паузу Афоньку.

– Чего «ну»? Как приехали, так и уехали, а жисть потекла дальше своим чередом. Вона Волоха несётся. – показал он рукой на взгорок, в то место, где дорога начинала спускаться в ложбину пустыря.

Я проследил за его рукой и увидел быстро едущий к нам уже знакомый милицейский уазик.

– Откуда знаешь, что не капитан? – поинтересовался я.

– Волоха. – утвердительно кивнул Афоня. – Только этот может боком, словно иноходец пылить.

Я пригляделся и, действительно, увидел, что уазик, двигаясь на скорости вперёд, ехал, будто и не прямо, а словно поворотив корпус в сторону. Со стороны это, действительно, было похоже на бег иноходца.

– А кто это? – спросил я.

– Как, кто?! Племянник. – удивился моему вопросу Афоня.

– Чей?

– Мой! – с сарказмом ответил тот. – Иваныча, чей же еще?

– А что же он на милицейской машине разъезжает?

– А на чём же ему ездить, если он в милиции работает.

Тут до меня начало понемногу доходить.

– Они что же, все родственники?

– Ага, дядя и три племянника. Андрюху с Димкой ты, поди уже видел. А это третий несется, Волоха, старшенький.

– Так нельзя же, чтоб родственники под одним началом служили... – пытался, было сумничать я. – Ах да. Ему можно. – вспомнил я не очень приятный разговор с капитаном на станции.

– У Иваныча-то, одни девки, вот он племяшей и подобрал под своё крыло. На Вальке он тебе, часом, не предлагал жениться? Она у него девка ничего, в самый раз тебе будет. Остальные-то малы еще.

– Как же, предлагал. – опять вспомнил я неприятный разговор.

– Да ты не журишь. Вижу, что предлагал. Иваныч где шутит, там и правда. Так что мотай на ус.

В этот момент к сараю лихо подкатил и замер уазик, протяжно скрипнув тормозами. Из него вышел прапорщик милиции, на вид года на три-четыре постарше меня, и подошел к нам. Он был таким же невысоким и улыбчивым, как остальная его родня.

По-деревенски протяжно и по-молодецки чуточку дурашливо, он поздоровался с нами и с интересом оглядел меня с ног до головы.

Без лишних разговоров мы сели в автомобиль и Волоха куда-то нас повез. Несмотря на свою улыбчивость, Волоха оказался не очень разговорчивым парнем. Всё больше слушал. Поскольку мы с Афоней тоже молчали, то всю дорогу провели в тишине, перекинувшись парой ничего не значащих фраз. Ехали не очень долго, минут десять. Потом показалось какое-то село, которое и оказалось селом Слепокуровским, тем самым селом, а не городом, при котором стояла станция. Подъехав к нему, мы проехали околицей и вскоре уазик затормозил... у детского сада.

Нас уже ждали. Женщина в синем рабочем халате оказалась одновременно заведующей садом и заведующей хозяйством этого сада. Высадив нас, Волоха тут же попылился прочь своим иноходным аллюром.

Я терялся в догадках относительно цели нашего здесь появления, но все выяснилось очень быстро, в очередной раз, вызвав у меня ощущение нереальности происходящего вокруг. Еще бы! Какая-то кинокомедия! «Джентельмены удачи», и только. Когда я понял, что к чему, то меня тут же посетила мысль: «Хороший фильм, классика жанра. Но что в нем делаю я?!»

Дело было в том, что нас с Афоней отрядили сегодня на работу по ремонту игровой площадки детского сада. Узнав об этом от заведующей, которая по обыденному определила нам объем работ и тут же ушла, я сел в детскую песочницу и громко рассмеялся. Смеялся долго и с наслаждением. Афоня терпеливо стоял рядом и ждал. Когда я закончил смеяться, он спокойно и без особого любопытства, больше из присущего ему чувства природного такта, спросил:

– Чего?

Я сказал ему, что если когда-нибудь заживу нормальной жизнью и буду кому-нибудь рассказывать о своих злоключениях, то не смогу рассказать про этот вот садик, так как это мгновенно перечеркнет всё доверие ко мне и меня с презрением назовут вруном и подлецом, который, по скудости собственной фантазии, желая вызвать сострадание к себе, не нашел ничего лучше, чем перевернуть сюжет популярного фильма.

Теперь смеялся Афонька. Смеялся он заразительно, искренне, как-то совсем по-ребячьи, высоким чистым тенорком, закидывая при этом голову назад. Глядя на него, я поддался его заразительному смеху, и сам засмеялся снова.

Когда мы вдоволь насмеялись, пришел мой черед спросить его:

– Чего?

Утерев глаза аккуратно сложенным чистым носовым платочком, неожиданно для меня извлеченным им из своего пиджака, Афоня вдруг, стал серьезным и пристально глядя мне в глаза, сказал:

– Эх-эх-эх, мил человек. Коль не дурак ты, а ты ведь не дурак, и коль тело твое есть, всего наперво, вместилище души твоей, а не только набор ребухи, да костей, никогда никому ты об этом не расскажешь, а сохранишь это лишь в памяти своей, как, может быть, самое дорогое приобретение твоей жисти, оберегая его от скверны праздного людского любопытства, равнодушия и осмеяния.

Да, совсем не прост был этот псковский мужичок. Что бы он ни говорил, о чем бы он ни рассуждал в своей манере ненавязчивого и нарочито простоватого мудрствования, по большому счёту, во всем он оказывался прав. С той поры, прошло уже порядком лет, утекло много воды, потускнели краски и поутихли звуки, отошли в прошлое все тревоги и переживания тех дней, но я до сих пор никому и никогда не рассказывал правду о том, что же на самом деле происходило со мной в те дни.

Оказались ли Афонины слова о жизненных приобретениях пророческими? Не знаю. Иногда мне кажется, что во всём этом подлинных приобретений было не больше, чем очевидных свидетельств собственной глупости. Сегодня, когда можно оглянуться назад и сказать самому себе: «да, что-то в этой жизни у тебя получилось», - не так страшно показаться глупцом, а в иные моменты такое нечаянное откровение способно даже вызвать у собеседника умиление и расположить его к тебе... Но я отвлекся.

5

Первым моим порывом после того, как мы остались одни, было бежать. Бежать в город, в район, в область, куда угодно, в поисках закона и справедливости, о чём я тут же сказал Афоне. Иронично улыбнувшись, Афоня сказал мне, что это будет глупостью. Помогать мне никто не станет и, куда бы я не бежал, в какую бы дверь я не стучался, проблемы будут только у меня. Беспокойные бомжи никому не нравятся.

– А Иваныч... когда приглядишься к нему, сам поймешь, что к чему. Ты его не бойсь. Это лишнее. Как приглядишься, так и охота бегать в поисках правды отпадет. У Иваныча своя правда. Не всем нравится, но всех устраивает. И, само главное, в полном соответствии со здешним пониманием об жисти. Так-то вот, паря. Не в том месте ты копытом решил бить.

После недолгих раздумий я послушал совета Афони и успокоился.

Весь день мы с Афоней приводили в порядок беседки и песочницы, ровняли заборы. За работой Афоня рассказывал мне о своей жизни и, на правах «старожила», о том месте, в которое я попал. Из его рассказа я узнал, что место это вовсе не город, а большое и довольно старинное село со своим укладом. Некогда оно славилось не только на всю округу, но и далеко за ее пределами, своими мельницами и маслобойнями, которые производили удивительного качества муку и масло. Отовсюду стекались сюда подводы и даже арбы с впряженными в них волами, гружённые мешками с зерном и семечкой. В пору повсеместного технического подъёма, стараниями местных старшин прокладываемая невдалеке железнодорожная ветка сделала крюк и пролегла рядом с селом. Так и возникла здешняя станция. Оттуда и название у нее – Вертуны, которое так и произошло оттого, что дорогу здесь завернули. Теперь сырье для переработки везли сюда не только гужевым транспортом, но и железной дорогой. Выдержала перерабатывающая промышленность села Слепокуровского и три революции, и германскую войну, и гражданскую войну, не выдержала только коллективизацию. Загнулась, оставив в память о себе скелеты мельниц, да маслобойных заводиков, да эту вот станцию с переставшим быть нужным нагромождением пакгаузов, складов и цистерн.

– А как порушили всё своим руководством присланные с центра полномочные, так и станция потихоньку захирела. – прилаживая к песочнице новую доску вместо прогнившей, рассказывал Афоня. – Осталась только водокачка, да вокзал красивый, да складов пустых тьма. Но село, худо-бедно,

от окончательного вымирания и упадка уберегли. Такие вот дела... Иваныч-то тута фигура авторитетная.

– Вот-вот, авторитет в законе. – с сарказмом произнёс я.

– Ну, в законе там, или нет, то я не знаю. Наверное, в законе, раз при власти. А что авторитетный, так это факт. Перечить ему не смей. Согнёт, чуть что не так. Он ведь исконный слепокуровский. Ты не смотри, что телом мал. Зато духом крепок, да правдой своею, которая, иной раз для него, выше всякого закона может быть. Вот от тебя, положим, какая польза? Никакой. Шляешься без дела туда-сюда, небо коптишь.

Афоня ловко всадил последний гвоздь в доску на крыше грибка и залюбовался своей работой. Потом продолжил.

– Нешто здоровому человеку, словно псу какому, пристало слоняться.

Я собрался горячо возразить, но Афоня не дал мне этого сделать.

– Помню-помню, мил человек, ученый ты у нас, да образованный, с положением. Всё так, всё так, да только не так. Не помогло тебе ни образование твоё, ни положение, если ты от них в бомжи подался. Подался-подался, не спорь. Что-то в твоей жисти перекосячилось и повело тебя, незнамо куда. А Иваныч, что же? Ничего. Он тебе жисть наново дает начать, человеческую жисть, а не собачью. Ты ее не принимаешь, сопротивляешься, упорствуешь, а не тут то было. Проходит немного времени, и ты понимаешь, паря, что есть в этом во всем своя правда, и что сопротивлялся ты больше из упрямства и из через всякую меру высокого мнения об собственной персоне. А потом, глядь, и ты уже свыкся с энтим положением своим. В другой раз глядь, а оно тебе уж и по нраву и думать об ином не хочешь. Это я, опять же, не об себе веду речь. Я фигура, как ты понял, иного склада, хотя, скажу тебе по самой правде, и в моей душе волнения разные тоже происходили.

Дальше из Афонькиного рассказа я узнал, что капитан Хромов, тот самый капитан, которому я обязан своим нынешним положением, был личностью здесь не просто известной, но весьма авторитетной и уважаемой, где-то даже легендарной. Служил он на этой станции бессменно уже четверть века, начав свою службу когда-то с рядового милиционера. Служение закону и порядку он понимал по-своему, с чисто слепокуровским непоколебимым разумением, которое ничто не могло бы сокрушить или изменить. Несмотря на установленный законом запрет, ограничивающий лиц, состоящих во всяком родстве или близком свойстве, в службе под началом друг у друга, служили под началом Иваныча три племянника – отпрыски многочисленного Хромовского рода, да кум Данилыч, не так давно выбывший со службы на пенсию по возрасту. Чужаков Иваныч не признавал, говаривая: «Чужак пусть в своем нужнике порядок наводит, а не печётся о чужом. Своему и доверие полное, и спрос, чуть что не так, со своего тоже самый полный будет, построже любого самого строгого закона». По какой-то причине начальство закрывало на это глаза, как и на многое другое, видимо, испытывая потребность в этом офицере. Формально его власть не распространялась дальше станции, но Хромов не признавал подобных ограничений, считая своей прямой обязанностью держать ответ и за порядок на станции, и за порядок в родном

селе, в котором, хоть и имелся участковый, молодой лейтенантик из пришлых, да был тот из нового поколения милиционеров: особого рвения к службе не выказывал, всё больше занимаясь обустройством собственной жизни и помыслы имея исключительно далёкие от села. От этого не имел он в селе и малой части такого влияния на людей и такого уважения у них, как Хромов. Поэтому капитан сразу, с первых дней знакомства расставил в их отношениях все точки и запятые, оставив участковому власть, чисто номинальную, вроде свадебного генерала. Это обстоятельство, в общем, совсем не расстраивало молодого участкового, даже радовавшегося такой непыльной службе.

Как бы там ни было, а порядок у Хромова и на станции, и в селе был такой, какой надо: ни пьяных кухонных дебошей, ни поножовщины, ни воровства. Своих бандитов в селе отродясь не водилось, а залётные бандиты село и станцию стороной обходили. И всё благодаря Хромову.

Афоня рассказал мне, что года три назад приехали на станцию братки на вишнёвой «девятке». Как выяснилось, «приватизировать», что ещё не «приватизировано», а проще, данью обкладывая то, что ещё не обложено. «Всё по-чесноку, майор, – весело сообщил вышедшему к ним навстречу капитану, старший братэла, – кому надо, тот в курсе. Мы ж не беспредельщики, на чужую территорию рот не разеваем». Аргументы, видимо, не возымели действие на Хромова, потому что, странно улыбаясь и глядя на старшего сузившимися до размера крохотной щелки глазами, во взгляде которых, в тот момент, было что-то змеиное, капитан-коротышка послал их к черту и тем же взглядом проследил, чтобы порядком растерявшиеся и, если быть до конца честным, изрядно струхнувшие братки, не сбились с дороги, путешествуя в указанном им направлении.

Неделю спустя, разогнав по углам всё станционное начальство уже только слухом о своём появлении, на станцию прикатил тонированный джип и четыре автомобиля калибром поменьше. Из них, как горох, поигрывая оружием, высыпали коротко стриженные пацаны в «адидасах» с характерными лбами и шеями. Следом за этим, в джипе открылась задняя дверь и из нее медленно и важно вышел и встал навроде памятника дядька, по внешнему виду, уроженец неведших тёплых мест, весь облик которого говорил о том, что он очень гордится собой.

Афоня рассказывал всё это мне с такими подробностями и так живо, что можно было подумать, будто сам он был не последним участником тех событий. В этот момент он был уже не деревенским философом, а ироничным рассказчиком, умело преподносящим своему слушателю захватывающую душу историю с лихо закрученным сюжетом. Размешивая прутиком краску в банке, он продолжил свой рассказ.

Хромов тоже имел основания гордиться собой, поэтому он тоже встал памятником, сверкая щелками сощуренных глаз, метрах в двадцати напротив уроженца юга и положив правую руку на кобуру с почти бесполезным в такой ситуации табельным пистолетиком. Неслыханная по тем временам наглость, от которой «памятник» с юга начал сомневаться, точно ли в своё дело он впутался, и стал, видимо, что-то просчитывать в голове. В шаге за спиной Хромова

встали четырьмя памятниками чуть поскромнее, племяши с кумом Данилычем, длинным как жердь, уже немолодым старлеем, всем своим видом напоминавшим Максима Горького.

Получалось как в американском фильме про дикий запад: тут тебе и тихая железнодорожная станция, и молчаливые мужчины при оружии, и палец у курка, и острое напряжение в лицах. Глупая, наверное, была картина. По крайней мере, мне она не казалась реальной. Я решил, что Афоня фантазирует или, как минимум, изрядно привирает, но не стал ему мешать.

– Не могу сказать, как легли фишки в голове у энтото, что на «вражеском» вездеходе был, – повествовал дальше Афоня, – но, видимо, легли они не в его пользу, потому как, постояв так, для мебели, и поняв, что дальше стоять будет смешно и надо на что-то решаться, он решился на то, чтобы так же важно сесть в свою колымагу и укатить восвосяи вместе со всеми своими барбосами. Правильное, в общем-то, было решение. Деньги деньгами, а жизнь дороже. С той поры слава о бешеном капитане с Вертунов по всей дальней и ближней округе разнеслась. Так и отстали. А южный друг тот был Магой Агдамским. Говорят, что серьезный авторитет имел Мага в определенных кругах. Серьезный-то оно, конечно, да только авторитет у него не серьезнее авторитета нашего Иваныча оказался. Вот я и говорю – в авторитете наш Иваныч, да еще в каком.

– А почему был? – спросил я у Афонии про Магу. – Его что, к родным могилам потянуло? – вспомнил я классический афоризм.

– Не к могилам, а в могилу его потянуло. Дурное дело ведь не хитрое, надо только попросить. Вот и выпросил он у кого-то себе свинца в живот. Подвело его чутьё. Так вот.

День близился к завершению. Закончив работу, мы с Афоней сдали её заведующей, а затем, вкусно поужинав тем, что оказалось у неё припасённым для нас, растянулись на траве у забора. Лёжа на спине, я покусывал травинку и разглядывал плывущие над нами облака. Каждое облако имело свою форму, свой размер и, наверное, свой характер, и свою судьбу. Куда и зачем они летят? Удивительная, оказывается, штука – облака. У меня на душе было хорошо и спокойно. Мне доставляла удовольствие нехитрая работа на свежем воздухе под сенью деревьев, где не было рёва большого города, где никто не торопился жить и не торопил другого, где праздник человеку создавали совершенно иные вещи и явления жизни, не имевшие ничего общего с моей старой жизнью, но, имевшие, оказывается, другие, незнакомые мне ранее стороны, о существовании которых я даже и не подозревал.

Вечером нас забрал и отвёз на нашу «мельню» какой-то немолодой постоянно хмурившийся дядька с изъеденным морщинами лицом. Был он на таком же старом автомобиле, названия марки которого я так и не припомнил, как не пытался. Коротко кивнув в знак приветствия Афоне, на меня он едва взглянул, бросив взгляд исподлобья. Идя к машине, Афоня еле слышно шепнул:

– Это Игнат, ещё один Иванычев кум. Нет, не Данилыч. Игнат уже какой годок мечтает своего Лёху на Вальке женить, да Иваныч всё отнекивается,

завтраками кормит. Вот Игнат в каждом молодом, вроде тебя, и видит соперника своему Лёхе. А так он мужик ничего, дельный, только сынок у него балбес, Лёха-то. Да-да, самый настоящий балбес: рвения ко всякому начинанию много, а завод у его пружины короткий, ни одного дела толком до конца довести не может, остывает. Оттого и балбес. Охота, думаешь, Иванычу такого в зятя брать? Игнат, конечно, понимает, но всё равно, злится.

Доехали, несмотря на ветхость автомобиля и простуженность его мотора, быстро и тихо. Никто за всю дорогу не проронил ни слова.

Высадив нас у сарая, Игнат достал с заднего сиденья узелок с едой и передал его Афоне. Потом облил меня, на прощание, с ног до головы «дружеским» взглядом, сел в свой автомобиль и уехал уже известной нам дорогой.

Умывшись из бочки и покончив с поздним ужином, уже в сгустившихся сумерках мы вышли с Афоней из своего жилища, и, сев на камень, стали любоваться звёздами. Южно-русская летняя ночь совсем не похожа на уральскую ночь. Уральское небо бледное, совсем невыразительное, с жидкими пятнами звёзд. Я не помнил, чтобы я когда-нибудь дома любовался звёздами. Здесь совсем другое дело. Здешнее ночное небо завораживало. Будто глубокий тёмный колодец оно вбирало в себя всю бесконечность распростертого над нами пространства, прихотливо окрашенного яркими брызгами больших и малых звёзд. То, что небо простиралось над огромным пустырём, добавляло мне ещё большего ощущения его величия и грандиозности. Не большой знаток астрономии, я попытался отыскать на небе ту одинокую звезду, что светила мне в предрассветное утро, но вскоре бросил это занятие, как безнадёжное.

Мы молчали, глядя на небо, и это молчание было содержательнее и лучше самого умного и самого душевного разговора.

Так закончился мой первый день в этом немного странном месте, куда забросила меня... всё-таки судьба, как бы ни хотелось мне сказать о чём-то другом.

6

На следующее утро за нами приехал на разбитых нещадной эксплуатацией «жигулях» инженер местного кирпичного завода, худенький и юркий отставной военный с выправкой человека, проглотившего лом ещё до своего рождения. Сразу после того, как я его увидел, мне в голову пришел вопрос, ответа на который я не нашел, спросить же об этом самого инженера я постеснялся. Вопрос был очень прост и, одновременно непосильно сложен. «Как это ему удастся сочетать в себе необычайную подвижность тела с идеальной прямизной спины?» – спросил я себя, но так и не ответил.

Юркий инженер-офицер был необыкновенно серьёзен. О чем бы он ни говорил, он всегда делал это, глядя собеседнику прямо в глаза и ловя каждое движение его зрачков. Если он не был уверен, что его поняли с первого раза, то начинал, нервно дёргая уголком рта, задавать контрольные вопросы, еще пристальнее заглядывая собеседнику в лицо. Если инженер убеждался в своих

подозрениях, то начинал объяснять заново, дергая при этом уже всем ртом и заметно огорчаясь несообразительностью собеседника. Так было со мной: поддавшись лирическому настроению, навеянному летним деревенским воздухом, здоровой пищей и окружавшим меня повсюду романтическим пасторальным пейзажем, я слушал инженера, объяснявшего нашу задачу на день, вполуха, с интересом разглядывая допотопный заводик и, как следствие, почти ничего из сказанного инженером не запомнил. Слушая его повторное объяснение и одновременно наблюдая за преобразованиями лица инженера, я со страхом подумал: «какую же боль я увижу на его лице, если не пойму со второго раза!» Собрав все свои мысли воедино, третьего раза я не допустил.

Несмотря на определенную физическую тяжесть, сегодняшняя работа была еще проще предыдущей. Нас с Афоней влили в бригаду, состоявшую из двух мальчишек и одной девчонки лет четырнадцати, находившихся, видимо, на летней подработке. Работа заключалась в том, чтобы стоя у непрерывно движущегося конвейера, снимать с него сырой, только что сформованный кирпич, и складывать его под навесом в бурты для просушки, и наоборот, разбирать бурты с уже просушенным кирпичом, складывать кирпич на конвейер и отправлять для обжига в печь.

Подростки никак не отреагировали на новых членов своего крошечного коллектива, словно не заметили нас. Мне показалось, что они делали это демонстративно, только поначалу неясно было, из каких побуждений. Немного погодя я понял, что делали они это скорее инстинктивно, на правах более опытных показывая нам «кто в доме хозяин». Еще не имея достаточной физической силы, но зато наполненные молодым задором, пацаны, видимо, не новички здесь, сразу задали работе высокий темп. Хвастаясь перед девчонкой своей молодой силой и желая ей приглянуться, и, конечно же, имея где-то в виду и наше с Афоней «благодарное» внимание, они устроили между собой негласное соревнование в количестве и скорости переноски кирпичей. Поддавшись молодому задору, я поначалу тоже старался хватать побольше, носить быстрее и подальше, но очень скоро с непривычки выбился из сил. Посмеиваясь надо мной, Афоня не снижая и не увеличивая темпа, носил строго по два кирпича, то же самое делала девчонка, одними глазами и уголками губ, посмеиваясь, и над пацанами, и надо мной. Несмотря на молодую прыть, немного погодя подустали и пацаны, всё же довольные собой, после чего все заработали в одном темпе. С этой минуты, витавшее в воздухе отчуждение между молодёжью и «стариками» начало понемногу таять.

Обедали мы вместе, на траве возле конвейера. Подростки достали свои сумки с едой и разложили их содержимое на газете. Откуда-то, неожиданно для меня, в руках Афони тоже оказался узелок с едой. До сих пор не обретя и капли собственной практичности, я не переставал удивляться практичности Афони. За обедом мы все вместе болтали о каких-то ничего не значащих пустяках и тогда я сделал для себя неожиданное маленькое открытие: возраст, образование и весь предшествующий образ жизни человека никак не могут являться препятствием для нормального человеческого общения.

В конце дня всё «возведенное и порушенное» нами было скрупулёзно пересчитано строгой мужиковатого вида тёткой, оказавшейся мастером завода, после чего, мы разбрелись по домам, точнее, подростки потопали в село, на краю которого находился заводик, а нас с Афоней отвёз всё тот же юркий прямой инженер на той же разбитой машине.

На следующее утро всё повторилось. На другое утро тоже. И последовавшее за этим утро тоже не отличалось от предыдущих.

А потом была суббота. Об этом я догадался по Афониному поведению, поскольку сам за временем не следил и дни не считал. Проснувшись, Афоня не торопился вставать, долго ворочался на своём лежбище, зевал, неторопливо поворачивался с бока на бок и почёсывался. Услышав, что я проснулся, он выдал в потолок, зевая во весь рот, «добрая утра», а потом опять зачесал бок. Сегодня никто никуда не спешил, хотя, впрочем, в «усадьбе Голицыных», как я окрестил про себя наш сарай, и раньше не наблюдалось особой суеты.

День выдался солнечный. Часам к десяти за нами на «козле» с открытым верхом приехал... Максим Горький. Увидев его, я, ни секунды не сомневался, что это и есть кум Хромова Данилыч. Сходство его внешности с внешностью классика, не раз виденной мной на фотографиях разных лет и кадрах кинохроники, было поразительным. Поддавшись влиянию этого сходства, я с замиранием ждал, что вот сейчас он подойдёт к нам и по-волжски заокает. Подошёл. Не заокал, заговорил вполне обыкновенно. А жаль. Такая красивая иллюзия лопнула.

Несмотря на выдающуюся внешность, личностью Данилыч, как мне показалось, был вполне заурядной. Не хмурился и не улыбался, говорил ни много ни мало, лицо его не выражало ни неприязни, ни дружелюбия, речь его, как я уже говорил, не была окрашена в оттенки, которые бы позволяли хоть сколько-нибудь судить о его нраве.

Быстро загрузившись в машину, мы двинулись в село. Впервые за время моего пребывания здесь я смог посмотреть на него не со стороны. Это было большое, очень большое и старинное село, привольно раскинувшееся на нескольких пологих холмах посреди южнорусской степи. С одной стороны села протекала мелководная в эту пору и тихая река. Дома в селе были большие, добротные, выстроенные из брёвен, в большинстве своём обитые реечной доской, с узорчатыми наличниками на окнах и палисадниками под ними. Каждый двор опоясывал крепкий невысокий забор с глухой калиткой в человеческий рост и такими же глухими, но еще более высокими воротами, которые говорили, скорее, о хозяйской рачительности их владельцев, чем о чём-нибудь ином. Улицы, до сих пор не знающие асфальта, были широкие и чистые. По обилию лавочек у палисадников и заборов я сделал вывод, что народ здешний не чурается общения и жизнь ведёт не замкнутую. С разных сторон до меня доносился шум, издаваемый разводимой во дворах живностью. В общем, это было вполне крепкое село.

Дом Хромова, которому мы вскоре подъехали, располагался на взгорке одного из холмов, совсем рядом с рекой. Отсюда, с высокого берега, открывался красивый вид на ещё нетронутую деятельностью человека заречье с

пойменными лугами, зарослями прибрежного ивняка и дальними пастбищами, на которых паслись стада коров и лошадей, с редкими островками кустов орешника, видневшимися то тут, то там. Оставив машину у ворот, Данилыч ввёл нас через калитку в тенистый двор с мощёными деревом дорожками. Следуя за ним, мы прошли на задворки, где голый по пояс Хромов, сидя на низенькой скамейке выстукивал на камне какую-то железку. Увидев нас, он поздоровался с Афоней как с давним хорошим приятелем и уставил на меня лукавый прищуренный взгляд. Потом, не вставая с места, протянул мне пятерню и, широко улыбнувшись, вполне дружески произнёс:

– День-то какой, а, Афанасий! Падай где стоишь.

Я опустил на перевёрнутое ведро.

– Сейчас вот закончу со скобами, – он кивнул на железку в своей руке, – и баньку будем варганить. Любишь баню, Афанасий?

Я неопределённо пожал плечами, а потом признался, что ни разу не был в бане. Не сильно удивившись моим словам, Хромов сделал радостное лицо.

– Ну вот и узнаешь, что такое настоящая русская баня. Пора приобщаться к полноценной жизни, Афанасий!

Я не возражал. Приобщайте. В качестве равнодушного согласия, я снова пожал плечами, буркнув только:

– А вдруг я заразный?..

– Ха! – довольно оскалился Хромов. – Там твоей заразе и наступит конец. Ещё ни одна бацилла живой из моей бани не уходила.

Он довольно захохотал.

После того, как Хромов закончил возиться со своей железкой, мы носили с реки воду и топили сложенную из брёвен баню, стоявшую позади хромовского огорода, над самым берегом реки, от которого к бане вверх вела деревянная лестница. Немного погодя, к нам присоединился Волоха. Андрюха с Димкой несли службу на станции.

Мне было интересно увидеть семью человека, который так неожиданно вторгся в мою жизнь. Я оглядывался по сторонам, но пока увидел только мелькнувшие пару раз во дворе русоволосые девичьи фигурки. Я даже не был уверен, были ли это разные фигурки, или одна и та же.

...Баня была замечательной. Я никогда не был до этого дня в русской бане и не имел возможности сравнивать, но и без этого был совершенно уверен, а теперь знаю это наверняка – хромовскую баню трудно, почти невозможно превзойти.

С честью для новичка, которую, хорошо помню, очень явственно тогда переживал, я стойко выдержал баню и, самое важное, её парилку с не знающими жалости к человеку разлапистыми дубовыми вениками, распаренными на настоях неизвестных мне трав, не раз в тот день с кавказской горячностью резвившимися на моём теле в клубах душистого пара. Да-да, именно с кавказской – тогда же, в этом клубящемся угаре, сжимавшем мой разум до размера крошечного бесформенного мокрого комочка, ощущаемого где-то в левой пятке, прямо по-соседству с испуганным розовым комочком докатившейся до самых глубин моего тела души, ко мне неожиданно пришла

отчетливая мысль, что если приглядеться, то в этом непрестанно снующем содружестве дубовых прутьев и листьев можно разглядеть человеческие черты с характерным горбатым носом и чёрными как смоль густыми усами вразлёт, а если ещё и прислушаться, то в издаваемых их движением звуках можно было уловить и обрывки гортанной речи...

Очнулся я от этого бреда в предбаннике, где меня, к немалому моему удивлению, ждали чистое бельё и свежая одежда, аккуратно сложенные на лавке. Я вопросительно посмотрел на Афоню. Тот ничего мне не сказал, только поощрительно подмигнул.

Потом мылась женская половина дома, а мужики, усевшись во дворе под деревом, наслаждались приятной усталостью и покоем. Потом мы все вместе обедали за большим столом, накрытым во дворе хромовского дома. Здесь я увидел её. Валентине, или как её запросто нередко здесь называли, Вальке, на вид было не больше девятнадцати или двадцати лет. Она была статна особой деревенской статью, круглолица и глазаста. Не доходившие ей до плеч шёлковые светлые волосы, очень красиво обрамляли лицо, то и дело касаясь своими кончиками маленького заострённого лисьего подбородка. У неё была волнующая высокая грудь, упругий выпуклый живот со скрытой под пёстрым платьицем, но хорошо угадываемой впадинкой пупка и гибкая талия. Валентина была заметно выше Хромова, и уж тем более, выше Макарьевны, его низкорослой жены, своей матери, суетившейся во дворе у стола, но её смешливая улыбка с таким, ставшим уже знакомым мне, хитрым прищуром искрящихся голубых глаз, не оставляли никакого сомнения в том, что Валентина была дочерью Хромова. Я тогда подумал, что, наверное, это гены. Видимо, кто-то из хромовских предков обладал немалым ростом, а потом произошёл какой-то сбой, устранить который природа решила именно на старшей дочери Хромова.

Она была красива, определённо красива, несомненно красива и я невольно стал сравнивать Валентину со своей красавицей-женой. Очень скоро я понял, что сравнения тут бесполезны и ненужны, и дело было даже не в том, что красота Валентины была дикой, естественной, а аристократическая красота моей жены регулярно поддерживалась, подчёркивалась и усиливалась дорогой косметикой и лучшими косметическими салонами. Дело было в другом – в том, что это была совершенно разная красота. И каждая из этих красот, имела своё особое неповторимое, ни с чем не сравнимое очарование.

Отмытый от многодневной грязи, выбритый и причёсанный, облачённый пусть и не в новую, но в чистую одежду, истомлённый настоящей русской баней, я пребывал в неземной неге, ощущал себя, будто заново родившимся человеком и сам себе нравился. Сколько раз раньше я слышал это избитое выражение «будто заново родиться», и только сейчас понял, что в нём, оказывается, скрыт немалый смысл. Остальные присутствующие, как мне показалось, тоже смотрели на меня как-то по-новому. Хромов же, с нескрываемым интересом откровенно разглядывал меня за столом и, по-моему, о чём-то сосредоточенно думал именно в связи со мной, точнее, в связи с моим преображением. Я был просто уверен в этом.

Здесь же за столом сидели и остальные три дочери Хромова, которые были значительно младше Валентины. Были они так же голубоглазы, белоголовы и смешливы, с любопытством разглядывая нового нездешнего человека. Жена Хромова, удивительно молчаливая женщина, молчаливость и неулыбчивость которой особенно резко выделялась на фоне жизнерадостного склада натуры её мужа и дочерей, закончив суетиться по хозяйству и сев за стол, тоже украдкой разглядывала меня, но в её поведении, в отличие от остальных, я заметил какую-то обеспокоенность и даже нервозность, от чего мне то и дело, становилось не по себе, что отчётливо выдавали руки, начинавшие хаотично блуждать по столу и одежде. Валентина тоже украдкой, но как-то излишне серьёзно, едва скрывая улыбку за морщинками, образовавшимися у переносицы от старания придать лицу эту самую серьёзность, рассматривала незнакомца, бросая на меня короткие, но внимательные взгляды, в которых, кроме простого любопытства едва уловимо читалось что-то ещё. Волоху с кумом Данилычем моя персона, казалось, не интересовала вовсе.

Хромов с Волохой понемногу выпивали, Данилычу пить не полагалось как водителю, отчего он, наверное, был особенно молчалив. Макарьевна, пригубив рюмочку, тут же её поставила и уже больше не поднимала, да никто её об этом не и просил; Валентина, как и её сёстры, пила извлечённый Макарьевной из погреба вишнёвый компот, причём делала она это с таким непринуждённым и непоказным изяществом, которому какая-нибудь утончённая любительница кларета из модернового петербургского салона позавидовала бы своей метафизической декадентской завистью цвета пляшущей на звёздных углях вечности ночи, успев перед падением от увиденного в обморок воскликнуть: «Ах, как это трансцендентно!». Я тоже пил компот, решив до конца оставаться верным себе и своему трезвому образу мышления. Чему хранил верность Афоня, я не знаю, не спросил его об этом и потом, но и он к вину не притрагивался, с удовольствием разборчивого сибарита налегая на обильную и разнообразную еду.

За столом потекла неторопливая беседа. Говорил больше Хромов, изредка в разговор вставляли слово Волоха или Афоня, от которого никто не отмахивался как от надоедливой мухи, а наоборот, слушали с интересом и вниманием; совсем редко открывал рот кум Данилыч. Говорили о разном: о погоде, об урожае, о каких-то совсем уж неизвестных мне вещах местного масштаба, скрытых от моего понимания. Когда любопытство Хромова, Макарьевны и дочерей было удовлетворено и их взгляды оставили меня в покое, я с облегчением тихо вздохнул и принялся слушать разговор за столом, без особого, впрочем, для себя интереса, больше радуясь возможности снова оказаться в более или менее приличном обществе и за нормальным столом.

День медленно клонился к закату. С пастбищ погнали скот.

– Михальцова бы надо одёрнуть, слишком он с глиной размахнулся. – неторопливо отвечивал слова Хромова. – Это, конечно, хорошо, что глина идёт по нормальной цене и спрос на неё не падает, да только оттого он и не падает, что другие директора из других районов о своём запасе беспокоятся, стараются

сохранить его и со стороны взять, где можно, вот и идут к нам. А Михальцов наш молод ещё, думает удивить кого-то возросшими прибылями своего завода, деятельным себя показать хочет. Будто до него заводом дураки руководили. Так можно свой карьер за пару лет извести, а потом одна дорога – у других втридорога побираться, когда нечего против поставить. Золотыми кирпичи из той глины станут. Вот тебе и прибыля.

– Оно верно. Пока жив был Алексей Петрович, порядок был. Не то, что сейчас. – веско вставил Волоха.

– У энтото тоже порядок будет. Пособить только надо чуток. – возразил Афоня.

– Как же, будет. – слегка раздражённо произнес Волоха.

Я уже догадывался, что речь шла о незнакомом мне директоре знакомого кирпичного завода.

– Будет-будет, не ерепенься, Волоха, Афоня дело говорит. А то, что он у тебя Лизку после армии увёл, так то ты сам виноват, не по делу ей претензии предъявлял. Думал сиднем сидючи, да губы надув, что сама к тебе приползёт, в ножки поклонится. Дождался. Вот она и поклонилась, только не тебе – выбрала понимающего, да энергичного, не то, что ты. – Хромов хохотнул. – Теперь сиди, да локти до старости кусай, а своё личное к делу не примешивай.

– Да это я так, дядь Коль.

На лице Волохи появилась странная для меня, никак не соответствующая его настроению улыбка во всю ширь лица. Только взгляд Волохи немного косил куда-то в сторону и вниз. Позже, когда я смог поближе узнать Волоху и весь хромовский род, я понял, что эта улыбка выражала, как ни странно, сожаление.

– Ферапонтов, я слышал, из Саратова вернулся. – жуя лист квашеной капусты и ни к кому конкретно не обращаясь, сказал Хромов.

– Вернулся вчера, в моё дежурство было. – произнёс Волоха.

– Так чего же ты молчишь. – встрепенулся капитан.

– А чего, я думал – все знают.

– Выходит, что не все. Ты с ним разговаривал? Как он съездил?

– Да не знаю, поздоровались только и всё. Он сразу уехал домой. По лицу если, вроде нормально. Бодрый был, в настроении.

– Ладно, завтра сам к нему зайду, узнаю, что да как.

Уже в сумерках со станции приехал Димка. Мы заново растопили баню, а потом Данилыч повёз нас с Афоней в «родовое гнездо». Дочери Хромова к этому времени уже давно перебрались в дом, Макарьевна гремела посудой где-то в глубине летней кухни. Хромов с Волохой проводили нас до калитки и «козёл» Данилыча быстро рванул со своего места.

Дорогой мы молчали. Данилыч молчал по своему обыкновению, мы же с Афоней – от усталости за день, выдавшийся для меня богатым на впечатления. Сидя на заднем сиденье, я, лениво откинувшись, смотрел сквозь стекло на проплывавший мимо нас в сумерках пейзаж. Когда мы подъезжали к месту нашего с Афоней обиталища, мой взгляд зацепился за мелькнувший вдалеке, за верхушками деревьев шпиль вокзала, который, вдруг, напомнил мне о чём-то

ещё недавно очень интересовавшем меня. Я быстро вспомнил – разборка с бандитами: было или не было? С того самого момента, как Афоня рассказал мне эту историю, она не давала мне покоя. Отсутствие определённости в ответе на интересовавший меня вопрос не позволяло мне сложить какое-либо в большей или меньшей степени законченное мнение о здешних обитателях и, в первую очередь, о Хромове. Когда Данилыч подвёз нас к нашему сараю и мы вышли, я задержался у машины, не спеша закрывать дверь. Повернув своё лицо ко мне, Данилыч уставился на меня в ожидании.

– Данилыч, можно задать один вопрос?

Тот утвердительно кивнул.

– Слышал я от людей, – тут я немного замялся и искоса посмотрел на топтавшегося рядом Афоню, – слышал я историю про то, как вы с Хромовым Магу Агдамского со станции выпроводили.

Выражавшее до этого лёгкое недоумение, лицо Данилыча прояснилось и в нём даже стал читаться некоторый интерес.

– Так вот, слышал я, что стояли вы стенка на стенку, как в американском кино, – я не мог удержаться от иронии в голосе. – и что покинул станцию Мага без единого выстрела и без единого слова, видимо с большого перепуга... Врут люди?

При слове «врут» Афоня дёрнулся и с укоризной посмотрел на меня.

– Врут, говоришь?.. Деревенские – не городские, понапрасну врать не станут. Незачем им это. – с достоинством и некоторой скрываемой гордостью ответил Данилыч после короткой паузы, а потом неожиданно улыбнулся мне на прощание, включил передачу и рванул по газам.

Я чертыхнулся, виновато посмотрел на Афоню и пошёл внутрь.

7

Всё воскресенье мы с Афоней бездельничали: с раннего утра мы бродили по окрестностям нашего пустыря, грелись на солнце, устроив из старого тряпья, в обилии имевшегося в сарае, лежанку на траве, снова бродили. Афоня целый день без устали рассказывал мне о здешних местах, будто именно они, а не далёкая псковская деревня были его родиной. Я с интересом слушал его. Потом Афоня готовил на своей печке какую-то простую еду и мы обедали. Потом мы снова бродили и грелись на солнце. В какой-то момент, поддавшись настроению, мне захотелось влезть на крышу нашего пристанища, на самый её верх, чтобы обозреть открывающуюся оттуда панораму, но, поразмыслив, я передумал – чего доброго, и свалиться можно. К вечеру откуда-то с юга набежали тучки, пошёл мелкий дождь и мы, забравшись на свои лежанки, до самой ночи внимательно слушали гулкую музыку, издаваемую ударами капель дождя о железную поверхность крыши. Под эту музыку я и уснул.

С утра понедельника мы снова впряглись в работу. За довольно короткий срок я побывал косарем, поливальщиком, помощником жестянщика, скотником и много ещё кем, сменяя одно место работы другим. Меня не тяготила эта не требующая особой квалификации работа. Наверное, всё-таки

из-за своей новизны и некоторого своего разнообразия, не успевая наскучить и надоест.

Понемногу обвыкшись здесь и отойдя от первых потрясений, вызванных столь резкой переменой в моей жизни, я стал пытаться хоть немного осмыслить происходящее. Для начала, я решил понять, хорошо это или плохо, что я оказался тут, что меня ждёт дальше, в каком качестве я должен теперь жить здесь и как долго, но, самое главное, зачем?

Я честно попытался это сделать. Но мой вырвавшийся на простор безделья разум послал меня к чёрту.

Не найдя, в общем, нужного ответа ни на один вопрос, я просто продолжил жить этой новой жизнью, не томя себя безвестностью ожидания «чего-то», которое вот-вот замаячит впереди. В какой-то момент на самое крохотное мгновение я даже действительно почувствовал однажды, что могу покинуть это место и никто не станет мне препятствовать. И больше того, продолжая цепляться своим не вполне ясным сознанием за эти крохотные мгновения эйфорической радости от внезапно вернувшейся ко мне на время способности придавать собственным мыслям определённую логическую завершенность, я самоуверенно подумал, что, наверное, мог бы рассчитывать здесь на некоторую помощь в своём возвращении. Чью помощь? Да разве это важно! Я даже не пытался определить для себя субъект этой помощи. Важным было осознание возможности самого этого факта. Оказалось, что простое осознание такой возможности очень удобно держать в памяти про запас, на всякий неприятный случай. Такая мысль успокаивала лучше всякого успокоительного лекарства, и я время от времени понемногу её эксплуатировал.

К беглому изложению своих редких попыток предаться размышлениям мне остаётся лишь добавить, что я почему-то совсем не хотел, чтобы вдруг обнаружилась какая-либо причина, которая бы сделала необходимым проверить на практике правильность моих предположений и догадок. По крайней мере, сейчас. Я совсем забыл про свои ночные городские кошмары и теперь меньше всего связывал с ними своё нежелание возвращаться домой, точнее, совсем с ними не связывал. Я просто не думал о них. Как я уже упоминал, я вообще мало о чём думал в тот период. Меня удерживало здесь, наверное, что-то другое, в чём я никак не мог разобраться. Где-то глубоко внутри себя я понимал, что рано или поздно мне захочется встряхнуться от такой жизни, как от наваждения, и вспомнить того человека, которым я был раньше. Пусть у этого человека уже будут другие запросы и другие потребности, скорее всего не такие закидонистые (по здешним меркам) как раньше, но я не мог оставаться на положении чьего-либо ублюдка-приживалы или безродного холопа вечно. Когда-нибудь моя гордость должна будет воспротивиться моему нынешнему положению и потребует снова стать самим собой. Что будет тогда? Кем я тогда буду и как я им стану? Я обладал слишком малым знанием о происходящем со мной, поэтому не мог даже приблизительно увидеть своё недалёкое будущее. К тому же, сам не зная почему, я, в общем-то, не пытался расширить это знание, стараясь не задавать лишних вопросов и сведя всё своё существование к некоей животной-растительной форме. В тот

момент меня это устраивало и даже начинало нравиться. Неизвестность то и дело холодила спину и приятно щекотала где-то под правой лопаткой, вызывая иногда во мне странную, едва ощущаемую бодрящую тревогу.

Что ж, самоустранившись в итоге от необходимости здорового осмысления своей участи и от попыток её дальнейшего разрешения, не произведя в мыслях никакой революции, я решил просто надеяться на время и, не предаваясь печали, ждать, что оно само всё подскажет.

...Наступил июль.

Третьего числа, во вторник вечером Хромов привёз зарплату. Когда он протянул нам с Афоней деньги, я никак не мог понять, зачем он это делает и что это за деньги. Афоня первым взял свои деньги и подтолкнул меня.

– Бери – твоё.

Увидев моё замешательство, Хромов довольно усмехнулся.

– Что, Афанасий, удивлён? Ты что же думал, в рабство попал? Думал, что вроде собаки или барана тебя тут держат? Не отпирайся, думал. Только у нас всё по-честности: заработал – получи. Бывают, конечно, издержки, не без этого. Но не сегодня. Держи – всё до копейки твоё. Всё, что положено, уже вычтено, не сомневайся.

– Откуда это?

– Не тушуйся, не из своего кармана плачу. На роль земельного магната не гожусь – мелок в желаниях и способностях, извини.

Хромов вложил мне в руку несколько банкнот разного достоинства. Постояв с минуту, он окинул взглядом наше жилище, будто видел его в первый раз, и повернулся уходить. В дверях он вдруг остановился, постоял несколько секунд в нерешительности, а потом обернулся ко мне.

– Надо бы перебираться тебе в нормальное жильё, к людям поближе. Не дело тебе тут обретаться.

Эти слова вызвали во мне внезапную резкую перемену, заставив на миг вспомнить историю моего здесь появления. Гордо подняв голову, я, сам не знаю почему, ответил Хромову такими словами:

– Не дело королю курей щипать, а безродному бомжу тут самое место и есть.

Услышав мою короткую, но пламенную речь, Хромов неприятно передёрнулся, обратил на меня застывшее в какой-то резиновой улыбке лицо, затем вышел на улицу, сел в свой уазик и уехал.

Денег оказалось не много, но, наверное, и не мало. С той поры, как я оказался здесь, прошло всего три с небольшим недели, а я уже разучился ощущать их ценность. Я смотрел на эти бумажки и не знал, как мне с ними поступить: крыша над головой у меня была, с питанием проблем не возникало, с одеждой тоже. Вынужденно я стал совершенно непритязателен, но это меня, в общем, не расстраивало и не пугало. Я подумал, что мне разве что, надо было бы обзавестись самыми необходимыми средствами гигиены и всё. Больше мне ничего не хотелось.

Равнодушно я отметил стремительно развивающееся во мне чувство собственного отупения. Я совсем не понимал корни этого ранее незнакомого мне равнодушия. Быть может, мне хотелось постичь глубины процесса собственной деградации? Но ведь тогда мне всё происходившее со мной, совсем не казалось таким упадническим и разрушительным... Не кажется оно таким даже сейчас. В те дни же, почти сознательно уходя от необходимости думать, боясь при этом запутаться в собственных ослабевших от умственного безделья мыслях, я старался воспринимать окружающую меня действительность, как я уже говорил раньше, с позиции растения, то есть, как единственно возможную для себя реальность, хотя это восприятие, то и дело, давало сбой, встряхивая меня по различным поводам на короткое время, а затем опять возвращая в ставшее уже привычным русло.

Я засунул деньги в карман и, с внезапно навалившимся на меня безразличием ко всему, опустился на табурет, что стоял у края стола. С другого края стола примостился Афоня. Разложив перед собой свои деньги, он сходил затем в дальний угол сарая и вернулся оттуда, держа в руках жестяную кубышку. Из неё он извлёк огрызок простого карандаша, моток очень тонкой верёвки, больше похожей на грубую толстую нитку, какие-то квитанции и изрядную сумму денег, разложенную по стопкам, аккуратно перевязанным кусками этой самой верёвки. Во мне живо проснулся интерес.

Пересчитав полученные сегодня деньги, Афоня решительно отделил от них пару банкнот и сунул их вместе с мелочью в карман рубахи, затем ещё раз пересчитал оставшиеся деньги, перевязал их новым куском верёвки и что-то написал карандашом на верхней банкноте. Управившись, он добавил получившуюся стопку к другим, недолго полюбовался получившейся картиной, потом переложил стопки на столе одну за другой, шевеля при этом губами и, видимо, что-то подсчитывая. Довольно крикнув, он сложил деньги в жестянку, засунул туда же карандаш с верёвкой и квитанциями, плотно закрыл крышку и только тогда посмотрел на меня.

– Копю. – бесхитростно произнёс он, увидев моё удивление.

Не дожидаясь расспросов, тут же стал объяснять мне:

– Мне-то деньги ни к чему, потребностей никаких не имею, а семья, поди-ка, нуждается. Вот и коплю. Два раза в год – к первому сентябрю и к восьмому марту прошу Иваныча отправить из города домой почтовым переводом. Что ж, ему не трудно, отправляет. И квитанции привозит, всё честь по чести. – Афоня мягко положил ладонь на стол, будто приглаживая эти самые квитанции.

Его слова подстегнули меня, словно кнутом. Внезапно я увидел как бы со стороны, что медленно, но последовательно превращаюсь в такого же самого Афоньку. Это вызвало во мне прилив сильной злости. Я злился на себя, злился на этого благообразного нелепого мужичка с его с виду простоватой, но не всегда понятной мне философией, злился на этого вездесущего Хромова, зримо или незримо, присутствовавшего ежедневно во всех сферах моей жизни, и который с подачи Афоньки не так давно даже стал мне казаться почти святым и каким-то необыкновенно благодетельным. В одно мгновение я возненавидел

это место, этих людей и себя вместе с ними. Мне стало невероятно противно и тоскливо. Встав с табурета, я направился к своему топчану, завалился на него, отвернувшись к стене, и замер. Так я и пролежал почти до самого утра. Кажется, я о чём-то размышлял тогда, но это были очень путанные размышления, которых я совсем не помню.

Перед самым рассветом я неслышно встал и пошёл умываться из бочки. Злость прошла. Остались лёгкое раздражение на самого себя и едва ощущаемая тоска. Из моих ночных раздумий родились только две неуклюжие своей простотой и очевидностью мысли. Я захожу себя в новый тупик – такова была первая мысль. Надо как-то из всего этого выбираться – эхом первой мысли, отдавалась вторая.

Низко склонившись над бочкой, я услышал, как из сарая вышел Афоня и встал позади меня.

– А что, Хромов всех безродных по субботам баней потчевал? За что такая милость? – не поднимая лица от бочки и не оборачиваясь, вложив в свои слова побольше ехидности спросил я Афюню.

– По первому разу каждого, да. Ну а потом, кто как приглянется.

– И что?

– А ничё. Ты, я гляжу, ему, вроде как, приглянулся. Вот и смекай сам как могёшь.

– Ну а ты что же?

– Я – дело другое. Я покладистый и не особо заметный.хлопот не доставляю. Да и прижился поди уже. Без меня у Хромова и баня – не баня будет, а так.

– Ну-ну, поглядим, смекнём. – усмехнулся я и окунул голову в холодную воду.

Где-то недалеко, чуть в стороне от нас, совсем низко прогудел транспортный самолёт.

8

Новая весть быстро разлетелась по окрестностям села Слепокуровского – началось восстановление знаменитого слепокуровского перерабатывающего промысла. С этой целью местный глава Ферапонтов, проявив завидное упорство и умение договариваться, выбил в некоем солидном банке большой кредит и тут же подписал с двумя заводами контракт на поставку и монтаж нужного оборудования.

Так говорили в селе.

Об этом же говорили в доме у Хромова, где я в последнее время стараниями его хозяина стал бывать чаще. С того самого июльского вечера, когда Хромов привёз показавшуюся мне такой странной и такой нелепой зарплату, и с последовавшей за ним бессонной ночи, две вещи, или, если хотите, два явления, стали теперь постоянными спутниками моего существования: первым явлением были заводимые Хромовым со мной то и дело разговоры о необходимости перебираться в село; второй явью стала

окрашенная в цвета утренней тоски, почти не сознаваемая мной тревога, единственным признаком постоянного присутствия которой для меня стало моё стабильно серое настроение, настолько серое, что я, довольно быстро свыкшись с его неизбывностью, лишь старательно стремился спрятать его подальше от глаз окружающих.

– Ну что, Афанасий, подумал насчёт переезда в село? – с завидным постоянством заводил со мной один и тот же разговор Хромов, когда окончательно улегалась дневная суета и нашей беседе никто не мешал.

Каждый раз Хромов слышал от меня отрицательный ответ, но это его ни сколько не огорчало.

– Да ты не дичись, не дичись. Что я, не вижу? Я к тебе давно присматриваюсь. Я-то сам быстро разглядел, что ты птица не простого полёта, на обыкновенного бомжа совсем не походишь. Только мне до твоих тайных движений души дела никакого нет. Пытать я тебя не собираюсь и твои дела – это твои дела, если так считаешь нужным, то можешь ничего не рассказывать. Только пора тебе по-людски у нас обустроиваться, коль привели тебя к нам твои пути-дороги. Условия для этого имеются.

– Не вижу нужды. – сухо отвечал я.

– Ну извини ты! Ну признаю, грубовато тебя приняли, – начинал горячиться Хромов, – невежливо. Может быть несколько обидно даже, с насмешками неприятными приняли, не разобрались. Но ты и сам должен понимать – сколько всякого разного нехорошего люда туда-сюда шляется. Обычно это всем только на пользу идёт.

– И мне на пользу пошло.

– Да ладно тебе. Кто ж знал, что ты такой гордый и ранимый окажешься.

– Гордость тут не при чём. Свою гордость я потерял где-то в дороге, вместе с документами.

– Ладно. Не будем злиться. Это совсем ни к чему. Но ты всё же, подумай насчёт переезда в село. Подумай.

– Подумаю. – каждый раз обещал я, больше ради того, чтобы от меня отвязались.

Очень скоро к моему частому появлению в доме Хромовых все привыкли. Макарьевна смотрела на меня уже без прежней обеспокоенности и даже, как мне показалось, с некоторым расположением. Заметил я определённое расположение к себе со стороны кума Данилыча и племянников. Для младших же дочерей Хромова я вовсе стал кем-то навроде примелькавшегося соседа или загостившегося дальнего родственника. Только в молчаливом поведении Валентины, с которой я с момента своего появления в этом доме так и не перекинулся даже парой слов, не произошло никаких заметных для меня изменений, разве что ещё более пристальным и внимательным стали её короткие взгляды, которые она изредка бросала на меня.

Оборудование для возрождающегося промысла доставляли по воздуху, транспортной авиацией, на расположенный километрах в двадцати от Слепокуровского полузаброшенный и давно бездействовавший военный

аэродром. Поэтому к привычным темам, обсуждаемым за хромовским столом, добавилась и тема авиации. Быстро нашлись и знатоки этого дела. Андрюха каждый вечер, свободный от дежурства, норовил рассказать набившую всем оскомину историю своего неудачного поступления в авиационное училище. Кум Игнат, зачистивший в последние дни к Хромову на вечерние посиделки, рассказывал как он, состоя в молодости в службе лесного пожаротушения, прыгал один раз с самолёта с парашютом. Рассказчиком он был неважным, поэтому, для убедительности, Игнат сильно жестикулируя, помогал себе руками. Не будучи до конца уверенным, что его хорошо понимают и что пропадёт такая увлекательная, по его мнению, история, он поддавался волнению и начинал от волнения заикаться, отчего его речь окончательно теряла всякую выразительность. Стараясь восполнить пробел, вызванный предательским заиканием, Игнат начинал ещё больше жестикулировать. Чем больше Игнат жестикулировал, тем сильнее он заикался. В конце концов, сильно расстроившись, он опускал руки и замолкал до самого конца посиделок.

Время шло. Самолёты летали. Изредка видели в Слепокуровском и самих лётчиков. Были это разбитные парни неопределённого возраста, погусарски красивые и обходительные. Форму свою, давно потерявшую не только первую, но и вторую свежесть, они носили с той элегантно небрежностью, с которой обнищавшие монархи волею судеб и собственных подданных лишённые своей монархической венценосности и выкинутые на булыжные мостовые чужих демократий, носят единственное, что у них осталось – их монаршее достоинство.

Как правило, лётчики лихо подкатывали на машине службы аэродромного обеспечения к сельмагу и закупали там в изрядных количествах «экзотические» спиртные напитки, к которым селяне относили всё – от пузатых бутылок коньяка с непонятными этикетками на иностранных языках до кокетливо изогнутых бутылок с разноцветными ликёрами с такими же непонятными этикетками на таких же неведомых языках. Сами слепокуровские таких напитков никогда не покупали, но им было жуть как интересно увидеть, как это делают другие.

В такие минуты, как бы случайно, в магазине набивался полный зал народу. Все толкались у витрин, что-то высматривали, переговаривались неспешно. Никто ничего не покупал. Как только к прилавку подходили лётчики всякие разговоры тут же смолкали, а взгляды селян, изо всех сил стремившихся продемонстрировать равнодушное безразличие к происходящему, устремлялись в сторону кассы.

Непринуждённо шутя и беседуя о ценах на керосин и на сахар с продавщицей сельмага, бывалой женщиной лет сорока пяти, которая в такие минуты, неизменно терялась, словно ребёнок и начинала глупо хихикать, лётчики покупали бутылочку «того», пару бутылочек «этого», полдюжины бутылок «вон ещё того, освежающего», а затем, прихватив для куража на прощание ещё бутылку «вон той омерзительной прелести», название которой не могла выговорить даже продавщица, лётчики, хитро подмигнув всем

собравшимся вместе и никому в отдельности, запрыгивали в свой уазик и так же лихо укатывали восвояси.

По вечерам их нередко можно было встретить в сельском клубе, куда лётчики иногда заезжали на танцы. Густо благоухая одеколоном и источая тонкий аромат экзотических напитков, лётчики изображали галантных кавалеров и кружили головы местным девицам. Слепокуровские парни тихо злились, но разборок не учиняли. Может быть, из уважения к такой героической профессии, а, может быть, ещё по какой-нибудь причине. В конце концов, могло сказаться и традиционное слепокуровское воспитание, возводившее рукоприкладство в ранг меры исключительной и требующей веского обоснования. Видимо, веских причин у местных, несмотря на их тайные желания, всё-таки не находилось.

Повсеместно в Слепокуровском и его окрестностях развернулась кипучая деятельность: восстанавливались старые заводи, мельницы и мележки, строились новые заводы и мельницы. Нас с Афоней иногда вместе, но чаще порознь, регулярно привлекали к работам на возводимых объектах. Тут Афонино плотницкое ремесло и оказалось в полной мере востребованным. Каждое утро, чуть свет, за ним приезжала машина и Афоня уезжал на очередной объект.

Мне же доставалась роль парня на подхвате или мальчика на побегушках у какого-нибудь умельца. Сказать по правде, уже к середине августа, когда монтажные работы развернулись и шли полным ходом, меня тошнило от подённой работы. Я вспомнил свои невесёлые предчувствия, вызванные недавними короткими размышлениями о своей новой жизни, и испытал огорчение оттого, что всё стало сбываться слишком скоро. В глубине души я был волком от примитивизма и однообразия выполняемой мной работы. Я приходил в ужас от мысли, что эта тоскливая рутина теперь будет сопровождать меня постоянно. И, в то же время, я не мог сказать об этом никому, боясь, что Хромов использует мою хандру по своему разумению и, в обмен на работу получше и попримичнее, перетащит меня в село. Как бы там ни было, а моё пребывание «на выселках» позволяло хоть в какой-то мере оставаться собой. Отправиться в село означало для меня окончательно раствориться в чужой среде и в чужих жизнях. Это пугало и я молчал.

В двадцатых числах августа, в понедельник, я, сказавшись больным, бездельничал, лёжа на траве на взгорке недалеко от нашего жилища, когда заметил, что по дну впадины пустыря в сторону нашего сарая на большой скорости пылит машина. Приглядевшись, я увидел, что это уазик. На его крыше были установлены мигалки. Я тут же расстроился, решив, что по какой-то надобности неугомонный Хромов решил меня достать даже больным. Станным было только то, что уазик ехал не от села, в сторону которого вела дорога на станцию, а совсем с противоположной стороны, с которой никто никогда не ездил.

Через минуту я увидел, что это не милицейский уазик. Мигалки были оранжевыми, а по борту машины красовались распротёртые крылья. Я пару раз уже видел эту машину раньше в селе, у Слепокуровского сельмага.

Авиаторы. На душе отлегло и у меня даже появился некоторый интерес.

Ещё через минуту машина, задорно взвизгнув тормозами, встала как вкопанная у входа в наше жилище. Из кабины бодро выпрыгнули два подтянутых человека неопределимого возраста, каждому из которых можно было дать от тридцати до сорока пяти лет. Оба имели симпатичную внешность, которую не портило даже оставленное на лице каждого из них немое свидетельство усердного поклонения богу виночерпия.

Выйдя из машины, авиаторы не стали входить внутрь нашего жилища, а остановились снаружи, озираясь по сторонам.

Я поднялся с земли и сел, чтобы меня было видно. До машины было метров пятнадцать, не больше. Меня быстро обнаружили. Один из лётчиков поднял руку над головой в знак того, что видит меня, и быстро зашагал в мою сторону. Второй последовал за ним.

Когда лётчики приблизились, я удивился их внешнему сходству: оба были одеты в одинаковые синие комбинезоны и одинаковые голубые рубашки; оба имели одинаковый рост, одинаковое телосложение и одинаковые лица, хотя, если описывать черты их лица по отдельности, то словесный портрет получился бы у каждого свой и не повторился бы ни в одной детали. «Профессия, что ли, диктует?» – подумал я и решил различать их по цвету волос – первый имел тёмно-русые волосы, второй же был ярким блондином.

– Слышишь, дружище, – улыбаясь, как старому знакомому, обратился ко мне русоволосый. – что-то мы заплутали тут у вас. Не подскажешь, в Слепокуриху как попасть? В первый раз мы тут в ваших краях.

Его чуточку скованная и нарочитая манера держаться и то, как он назвал село, действительно, говорили, что этот авиатор в здешних местах был впервые и, действительно, нуждался в помощи.

Мне польстило то, что я, впервые за долгое время, оказался в положении принимающей стороны. На меня внезапно напало игривое настроение.

– Да, у нас по незнанию совсем и не мудрено затеряться. Места наши обширны и дики. – дурачился я. – Повезло вам, что меня повстречали.

– Ну так как насчёт Слепокурихи? – проявил нетерпение второй.

– Слепокуриху не знаю... Может, вам Слепокуровское нужно? – произнёс я после короткой паузы, в течение которой изображал серьёзные раздумья.

– Ну да, да, Слепокуровское! – обрадовались оба лётчика.

– Так я и говорю вам, что повезло вам со мной...

– Куда ехать?! – хором завопили синие комбинезоны.

Моё игривое настроение прошло так же быстро, как и появилось. Я молча показал на наезженную колею, которая вела от нашего сарая в сторону села, лёг на траву и демонстративно отвернулся.

– Всё время прямо до знака, потом налево, там увидите. – сказал я не оборачиваясь и затих.

Послышался звук удаляющихся шагов. Я обернулся и стал провожать взглядом моих неожиданных гостей. Внезапно русоволосый остановился, затем, махнув своему товарищу рукой, указывая чтобы тот шёл к машине, стал быстрым шагом возвращаться назад. Я чуть приподнялся и опёрся на локоть, разглядывая лётчика и гадая, что ему ещё нужно. Подойдя ко мне, он нагнулся и немного виновато похлопал меня по плечу.

– Ты это, прости, дружище, если что не так. Спасибо тебе. Если нужно что будет, спроси на аэродроме Серёгу Белова, второго пилота с борта тридцать два-семнадцать – это я. Как говорится, чем смогу. Мы ещё до среды, до обеда у вас чалиться будем. Потом на крыло и – до другого раза. Ну, бывай.

Он повернулся и побежал к машине.

Какая надобность мне была во втором пилоте борта тридцать два-семнадцать? Никакой. Я добросовестно пробездельничал остаток дня, а утром снова впрягся в работу.

9

Первые холода пришли в эти места середине сентября. Своим приходом они добавили мне тоскливого настроения и я впал в уныние, которое уже невозможно было спрятать от окружающих.

В ближайшую субботу после бани Хромов отвёл меня к реке и я понял, что разговор будет серьёзный.

– Ну что, не надумал? – начал он как обычно.

– Не надумал. – так же привычно, только с едва заметной обречённостью в голосе отвечал я.

– А придётся.

Я с молчаливым вопросом посмотрел на Хромова.

– Закрывается ваше «общежитие».

– Это, в каком смысле?

– В прямом. Мельница там будет, как и раньше. Больше тянуть некуда. До наступления морозов надо управиться с монтажом оборудования. Срок вам до вечера понедельника, то есть, до послезавтра. Так-то вот...

Мысли спутались у меня в голове и я посмотрел на Хромова, словно надеясь, что он поможет мне распутать их. Будто услышав мою просьбу, Хромов принялся обстоятельно излагать.

– Переживать тут нечего, я всё давно обдумал. Парень ты толковый, лично мне, да и не только... – тут он немного запнулся, – симпатичен. Переберёшься жить ко мне во флигель. Работу тебе нормальную определим, чтоб по уму твоему и в чистоте чтобы... Потом документы нормальные справим – я тебя к себе опером определяю.

Я со скорбным изумлением, которое Хромов, по-видимому, истолковал по-своему, посмотрел ему в лицо. С удвоенной радостной энергией капитан продолжал:

– Ты не подумай. Я серьёзно говорю, очень серьёзно. Проблем никаких не будет. Всё будет честь по чести, по-настоящему... Вот ты скажи – тебе

Валентина моя нравится? Можешь не отвечать – знаю, что нравится. Такая девка не может не нравиться. Кровь с молоком! Знаешь, сколько женихов вокруг неё вилось и вьётся? Не успеваю отшивать. Даже близким мне людям отказываю.

«Это он про своего Игната с его балбесом Лёхой», – механически подумал я.

Хромов всё больше проникался чувством произносимых им слов, совсем не обращая на мою реакцию внимания, видимо, полностью уверенный в том, что я пребываю сейчас в счастливом отупении.

– Ты ей тоже нравишься. Я это как отец знаю. Родная кровь ведь! Твоя прошлая жизнь меня совсем не интересует. Сбежал от неё и ладно, значит так нужно было. Детей нет?

Я еле заметно отрицательно покачал головой, продолжая тупо смотреть куда-то сквозь Хромова.

– Вот и замечательно! – наполнился ещё большей радостью тот. – Официально вы там были, или не официально, то совершенно не важно. Важно, чтоб по совести всё было. Справим вам с Валентиной всё как надо. Через пару годиков дом поставим, внуки пойдут...

– А как же Афоня? – попытался я вернуть Хромова и себя заодно с ним к реальности.

– А что Афоня? С ним всё в порядке будет. Данилыч у нас вдовый, дети все взрослые, семейные, живут отдельно. Дом у Данилыча просторный, так что и Афоню разместить сумеем.

– А он согласен?

– Кто? – удивился моему вопросу Хромов.

– Афоня.

– Вот ты чудак! Да как же он не будет согласен? Ведь ему только лучше будет.

– Ну да, вам видней. – равнодушно согласился я.

Во двор хромовского дома я вернулся так и не сумев снять выражение глупого изумления со своего лица.

Весь остаток вечера Хромов был больше обычного весел и словоохотлив, усадив меня за ужином рядом с собой, то и дело, без повода смеясь и хлопая меня по плечу. Макарьевна была ко мне заботливее обычного. Во взглядах Валентины я впервые прочитал томность и откровенный женский интерес.

Мне показалось, что мир сошёл с ума.

В эту ночь впервые после бегства из дома ко мне вернулся мой безмолвный кошмар.

Сидя на своём убогом топчане, я смотрел сквозь грязное стекло на огрызок луны и беззвучно плакал. Нестерпимое одиночество, несравненно большее, чем любое одиночество, когда-либо ощущавшееся мною раньше, накрыло меня с головой.

Едва дождавшись рассвета, я оделся и распахнул дверь. Пелена густого низкого тумана ввалилась в наше остывшее за ночь жилище и стала растекаться по нему, прячась по тёмным углам.

– Утро-то какое, Афанасий! – услышал я позади себя восторженное восклицание проснувшегося Афонии.

– Какое? – зло спросил я, не оборачиваясь.

– Прекрасное!

– Что же в нём прекрасного?

– Эх, молодёжь! Как быстро вы расстаётесь с романтическим настроением к жисти. Ты посмотри вокруг, Афанасий! Этот воздух, этот туман и наше скромное жилище... Душа поёт.

– Теперь твоя душа будет петь на перине в доме у Данилыча. То-то посмотришь, какие сладкие песни она там запоёт.

– То есть как? – осёкся Афоня.

– А вот так. Нет у нас больше жилища. Выселяют нас. Или тебе Хромов не говорил? – уверенный в том, что Афоня в курсе всего, выпалил я и вышел наружу.

У меня не было каких-либо конкретных планов, но мне нужно было хоть чем-то занять себя, чтобы хоть немного успокоиться. Я решил занять себя ходьбой и двинулся по дороге в село.

Сделав шагов шесть или семь, я услышал, как Афоня, стоя в дверях, окликнул меня.

– Афанасий, если ты шутишь, то это злая шутка. Но я всё равно тебя прощаю. Скажи только правду.

Я обернулся и понял, что с Афоней разговоров о переселении никто не заводил. Видимо, посчитали, что церемониться с ним, и в самом деле, излишне.

– Правду говорю. От Хромова вчера услышал. Велел выметаться нам к завтрашнему вечеру.

– Но зачем же?! – почти молил меня вопросом Афоня, будто именно я был тем человеком, от решения которого всё зависело.

– А затем, чтобы жилось хорошо.

– Чем же здесь было плохо?

– А хотя бы тем, что жирно нам с тобой целую мельницу под личные покои занимать.

Я повернулся к Афоне спиной и зашагал в село.

Дойдя до окраины села, я недолго потоптался на месте и решил обойти его по кругу, старательно загребая в противоположную от хромовского дома сторону. Дойдя так задами до дальней стороны села, я спустился к реке, посидел немного у берега, но созерцание спокойного течения воды не принесло ожидаемого умиротворения и я двинул в центр села.

В воскресное утро в селе Слепокуровском царило оживление. Спеша по разным надобностям, или просто прогуливаясь, сельский люд заполонил его улицы. Меня часто окликали многочисленные появившиеся здесь знакомые, здоровались, о чём-то говорили. Я произносил ответные приветствия и что-то отвечал невпопад, стараясь как можно быстрее снова остаться одному.

Вскоре бесцельное шатание привело меня к дверям сельмага, традиционно являвшегося в эти часы средоточием сельской жизни. Здесь было особеннолюдно и меня стали чаще окликать.

Круто повернувшись, я заспешил в обратную сторону. Буквально в эту же секунду за моей спиной раздался скрип тормозов.

– Как дела, дружище?

Я обернулся.

Это был Серёга Белов, мой знакомый лётчик, второй пилот борта тридцать два-семнадцать. Улыбаясь во всю ширь своего белозубого рта, он стоял у своего «крылатого» узика и смотрел на меня.

Я искренне обрадовался этой нежданной встрече. Мы недолго поговорили о каких-то пустяках, потом Серега заспешил в магазин, сообщив, что его ждут товарищи и он должен торопиться.

– Последний рейс в ваши края. Всё! Фрахт заканчивается. Завтра утром на крыло и – поминай как звали. Так что мы сегодня только слегка «освежаемся». Больше – ни-ни.

Он сделал характерный жест рукой, красноречиво изображающий одновременно и выпивку, и её полное отрицание.

Вволю набродившись, я приплёлся к нашему пристанищу часам к двум дня. Обычно к этому времени Афоня заканчивал готовить вкусный обед из своих неистощимых запасов продовольствия. Я готовить не любил, да и не умел, с радостью переложив эту обязанность на своего соседа, который, впрочем, совсем не возражал.

Сегодня обеда не было. Когда я вошёл, Афоня неподвижно сидел у стола, уставившись взглядом в одну точку на полу.

– А ведь ты был прав, Афанасий. – обратился ко мне Афоня безо всяких предисловий, не поднимая взгляда от пола. – Паразит я и никчемный человек.

– Я такого ничего не говорил. – обиженно возразил я.

– Говорил, говорил. Пусть и слова другие употребил, зато суть мою верно изобразил.

– Да ничего я не изображал! – возмущенно защищался я.

– Как же, – не обращая внимания на моё негодование, продолжал своё Афоня, – лодырем да трусом назвал.

– Ты чего, в самом деле?!

– Правильно назвал. Сбежал от семьи, пригрелся тут и доволен сию. Денежными подачками два раза в год от детей откупаюсь.

– Так у тебя, наверное, причины серьезные были.

– Да уж не серьезнее тех, по которым бы остаться надо было. Сволочь я!.. Дочери поди уже замужем... Только не я их выдавал... Сын вырос... и всё без отца!

– Да ладно тебе убиваться так!

– А я, между прочим – Блинов, Мишка Блинов. У нас полсела Блиновых, а другая половина – Половиковы...

Афоня-Мишка Блинов поднял на меня своё лицо, которое приняло грустно-мечтательное выражение.

– Вот когда, к примеру, ты Блинов, и бабу в жёны берёшь Половикову, это нормально. Тут без объяснений. А мы с моей Анной оба из Блиновых были.

Он засмеялся.

– Такая ерунда из-за этого часто случается, путаница такая бывает. Вот и у нас с Анной бывало... А как ты думаешь, Афанасий, земля, она из самолёта какой видится? – неожиданно перешёл он к лётной теме.

– Не знаю, не летал. – соврал я, не имея желания поддерживать предложенную моим товарищем тему, показавшуюся мне немного странной.

– Я тоже не летал. – вздохнул он. – А как самолёты над нами стали летать, так я только и мечтаю, чтоб село своё с высоты увидеть.

Я внимательно посмотрел на Афоню. Лицо его было серьёзно.

– Что ж, пришёл моей беспутной жисти конец. Правильно. Пора.

– Так я и говорю – то-то заживёшь у Данилыча за пазухой.

– Не пойду я к нему.

Я удивлённо уставился на Афоню.

– Домой двину, на Псковщину. Поможет Хромов с поездом – спасибо ему. А нет, так пешком уйду. Ну и что, – рассуждал он как бы сам с собой, – колинет у моей Анны никого, и если пустит она меня к себе, благодарен ей буду по гроб. Ну а ежели мужик у неё заимелся, или коль не пустит она меня на порог, да с топором встретит... Это она может, да...

Афоня грустно усмехнулся.

– ... Так я всё одно, лягу у крыльца заместо пса и издохну. Хоть жить, хоть помирать, а одна мне дурню дорога... И другой дороги мне боле, видать, не надо. Нагулялся...

Мы долго молчали, а потом вместе готовили себе ужин.

Поужинав, вышли наружу и так же молча наблюдали за тем, как на землю опускаются сумерки и на небе зажигаются звёзды.

Каждый из нас думал о своём и молчал.

О чём думал Афоня, я не знаю, но, видимо, его мысли были приятными. Всегда приятно смотреть на жизнь, имея в своём сердце решимость совершить правильный поступок. О себе я не мог сказать того же. Моя жизнь зашла в очередной тупик и я совсем не видел из него выхода.

Когда стемнело окончательно, мы, не нарушая молчания, разбрелись по своим лежанкам. Минут через десять Мишка Блинов, совсем не молодой человек, которого я и в мыслях и наяву продолжал называть Афоней, тихо засопел в своём углу. Я сел на топчане и остался один на один со своими мыслями в полной темноте.

Я боялся уснуть. Боялся прихода очередного немого кошмара, боялся наступления утра, с которым закончится моя крохотная вольность. Боялся.

Я не проклинал своё решение сбежать из дома и не жалел о совершённом, но... я стоял перед новым тупиком, а это всегда пугает.

Не знаю, сколько времени я так просидел. Я думаю, прошло не меньше двух часов, когда неожиданная и до обидного простая мысль пришла мне в голову.

Улететь! Улететь отсюда к чертям собачьим, улететь куда угодно, улететь любой ценой! Во что бы то ни стало. Для этого у меня был всего один и то невеликий шанс, который я обязан был использовать.

Я не знал, специально или случайно Афоня заговорил сегодня со мной о полётах и самолётах, но я был благодарен ему за эту подсказку. Неслышно встав с топчана, я вышел наружу. Внутренне напрягшись, я задержался на мгновение в дверном проёме, почти уверенный в том, что Афоня сейчас окликнет меня из темноты. Я боялся, что не найду нужных слов для этой минуты. Но он не окликнул, и я закрыл за собой дверь...

Мне совсем не хочется, чтобы читающий эти строки воспринял моё сентиментальное повествование за желание разжалобить и вызвать хоть каплю лишнего сострадания к себе. Подобной задачи я не ставил перед собой, совсем нет. Но, что поделать, людям моего уже не юного возраста свойственна сентиментальность, а пережившим приключения, подобные моим, в особенности. Так что, оставаясь до конца правдивым в описании своей истории, я всё же оставляю за собой право пролить немного чувств на эти страницы и прошу меня за это извинить.

Ночь была звёздной и мне не составило особого труда сориентироваться. Не раздумывая, я двинулся в ту сторону, с которой некоторое время назад к нашей мельнице пришла машина с лётчиками. Я никогда не был на этом аэродроме, но довольно хорошо представлял себе, куда нужно было идти. Цель моего пути лежала километрах в пятнадцати от мельницы. Какой пустяк, когда впереди у тебя новая жизнь!

Осознание того, что у меня наконец-то снова появилась цель, придавало силы. Широко шагая, я испытывал радостное и чуточку тревожное волнение. Моему приподнятому настроению не мог помешать даже начавшийся дождь. В дороге я начал воображаемый разговор с Серёгой Беловым. Я представлял себе, как буду разговаривать с ним, что я ему скажу, какие слова найду для того, чтобы убедить его взять меня с собой в Поволжье – туда, откуда прилетел Серёгин самолёт. Туда, где Серёгин дом. Разговор получался комканым. Пытаясь объяснить воображаемому Серёге важность толкнувшей меня на это причины, я путался, сбивался и начинал всё заново. Убедить Серёгу как-то не очень получалось. Я злился на себя и на бездушного непонятливого Серёгу, впадал в кратковременное отчаяние и плакал. Потом я снова начинал убеждать его, снова злился, снова впадал в отчаяние и снова плакал.

У меня в кармане лежало немного денег, сумма, скопившаяся от выплачивавшейся мне в Слепокуровском зарплате. На них я и возлагал последнюю надежду. Это был мой самый последний и самый веский, как мне казалось, аргумент.

К аэродрому добрался, когда уже порядком рассвело. Дождь кончился. Погода устанавливалась хорошая. Я довольно быстро нашёл Серёгу в одном из аэродромных барачков. Промокнув до нитки, я дрожал от холода, который усиливала утренняя сентябрьская стужа, но сейчас я был благодарен дождю, который «умыл» моё заплаканное лицо, скрыв от посторонних следы проявления моей душевной слабости.

Опасался и плакал я напрасно. Мне не пришлось убеждать Серегу.

– Никаких проблем! – радостно ответил он, едва узнав суть моей просьбы, и тут же останавливающе махнул мне рукой, как только я открыл рот, чтобы изложить ему свои причины. – Надо, так отвезём. Пошли чай пить.

Я быстро отогрелся в тёплом помещении лётной столовой, выпив на радостях три стакана горячего сладкого чая и съев целую тарелку печенья, которое густо намазывал сливочным маслом.

Чуть-чуть только влажной оставалась моя одежда, состоявшая из порядком полинялой фланелевой рубашки и стареньких джинсов. Критически осмотрев с ног до головы, Серёга отвёл меня в свой барак, где выволок из какой-то каптёрки кучу форменного тряпья, долго в нём рылся, а затем, придиричиво отобрав в этой куче довольно приличного вида комбинезон, такую же куртку и голубую почти новую рубашку, удовлетворённый протянул их мне.

– На, приоденься, а то видок у тебя неважнецкий. Счас и обутку тебе подберём. – добавил он, глянув на мои уже порядком побитые холодные милицейские ботинки, выделенные когда-то из хромовского гардероба.

Я попытался вяло протестовать, хотя в душе был рад Серёгиному жесту как мальчишка. Серёга посмотрел на меня как строгий школьный учитель на ученика, совсем не к месту допустившего глупую выходку. Я смутился и принялся быстро переодеваться.

Через пару минут я был похож на заправского авиатора. На моих ногах блестели новенькие тёплые ботинки на толстой резиновой подошве с большими круглыми носами.

Серёга довольно оглядел меня с ног до головы.

– Ну вот, сойдёшь теперь за аэродромного техника. В эту сторону всем и ври.

– Кому врать? – растерялся я.

– А всем.

Ничего не поняв, я всё же утвердительно кивнул.

Серёга убежал куда-то по делам, а я, предоставленный самому себе, решил немного пошляться по аэродрому. Сперва я опасался, что вызову подозрение аэродромной охраны или его персонала и меня задержат с последующим разбирательством по всем правилам, но довольно быстро моя тревога прошла. Охраны на аэродроме не было никакой, по крайней мере, я не увидел ни одного человека, походившего бы на стража. Поле аэродрома было большим, со старой бетонной взлётно-посадочной полосой и кучей убежавших от неё рулёжек и стояночных площадок. Военной техники на нём и вовсе не было никакой, если не считать двух-трёх догнивающих пузатых транспортников с красными звёздами на бортах и одного такого же дряхлого санитарного самолёта.

Всю действующую лётную технику на аэродроме представляли два дремавших на стоянке небольших гражданских транспортных самолёта, один из которых, по-видимому, был Серёгиным. Так и есть! На борту ближнего самолёта красовались памятные для меня цифры: «тридцать два-семнадцать».

Настроение, подогреваемое ласковым сентябрьским солнцем, стремительно поползло вверх. По аэродрому сновало много разного люда, но никому до меня не было никакого дела. Охватившая меня в первые минуты пребывания здесь скованность прошла, я приосанился и стал вживаться в образ аэродромного спеца.

Инстинктивно я старался не выпускать из вида «свой» самолёт, а потом и вовсе поймал себя на том, что уже длительное время топчусь возле него, не отходя ни на метр.

Я не имел часов, да меня и не очень интересовало время. Я думаю, было часов восемь, когда появился Серёга. С ним к самолёту шли ещё три лётчика. По манере держаться чуть-чуть впереди остальных, по прямому взгляду и по размеренно впечатывающей шагу в землю походке, я безошибочно определил командира. Он выглядел чуть младше Серёги, но зато был выше его и остальных членов экипажа ростом, имел голубые глаза и ослепительной белизны волосы.

Командир сразу, ещё на подходе к самолёту, обратил внимание на меня. Опережая его вопрос, Серёга выдвинулся из-за командирского плеча и откомендовал меня:

– Борисыч, это аэродромный техник, электрик, свой парень. Ему с нами по неотложным делам лететь надо.

Командир коротко, но пристально посмотрел в моё сделавшееся в этот момент до противного честным лицо, а потом утвердительно кивнул и пошёл дальше к самолёту.

Серёга подмигнул мне и махнул рукой идти следом за ним. Обрадованный, я быстро забрался в огромное пустое брюхо самолёта и пристроился у иллюминатора на указанное Серёгой сиденье.

Мне было хорошо. «Ну вот, теперь я авиационный электрик, – кокетничал сам с собой, – лишь бы только не начали расспрашивать, что там, да как». Об электричестве я имел очень смутное представление и мне совсем не хотелось быть уличённым в обмане.

Взлетели. Дали разворот. Я взглянул вниз. Под нами проплывал большой населённый пункт. Наверное, это было Слепокуровское. По крайней мере, я так для себя решил. Красивое ли оно было с высоты?

Может ли быть красивым место, из которого ты бежишь, очертя голову? Оно было ужасно! Я злорадствовал и моя злорадная фантазия буйствовала. Я видел там внизу Хромова, Валентину, Макарьевну, племянников, всю их многочисленную родню, всех их многочисленных кумовьёв, родственников кумовьёв, кумовьёв родственников кумовьёв, посягнувших на меня, как на бесхозную, но очень полезную в хозяйстве вещь, которые стояли сейчас, задрав головы и открыв рты, и изумлённо смотрели на то, как эта приглянувшаяся им вещь улетает от них.

В приятных мечтаниях я задремал.

Разбудил меня Серёга, похлопав по плечу.

– Вставай, дружище, приехали. Ну ты и горазд спать! Восемь часов без перекура. Тебя, вроде, Афанасием звать?

Ещё сонный, я отрицательно покачал головой.

– Ну и ладно.

Мой ответ Серёгу вполне удовлетворил, но теперь удивился я. Оказывается, имя человека, которым он дорожит с рождения, в котором он видит особый смысл и немалую ценность, иногда может оказаться просто пустым звуком. Именно это и происходило со мной в последнее время. Моё настоящее имя, данное мне при рождении, имя, с которым я отождествлял всё самое лучшее в своей жизни, никого не интересовало. Оно переставало существовать. Я подумал, что теряю к нему интерес и сам, ведь я тоже, в некоем роде, перестаю существовать, всё дальше убегая от себя.

Сформулировав в голове эту, в общем-то несложную мысль, я удивился: ко мне снова вернулась способность мыслить связано. В этом даже улавливался лёгкий налёт философствования.

Александр...

Это благородное имя дали своему единственному ребёнку мои интеллигентные родители: мама была директором концертного зала филармонии и неплохо играла на фортепиано; папа – доцент кафедры математики областного университета, а ещё он был ответственным секретарём одного известного только в узких научных кругах журнала.

Мамы не стало за три года до истории с моим бегством... Это была обыкновенная плановая операция по удалению доброкачественной опухоли. Врач ввёл маме препарат, на который у неё была индивидуальная непереносимость. Потом ещё были шесть дней реанимации, за которыми уже не было ничего.

Мамина смерть подломила отца. Он замкнулся в себе, потерял интерес к работе, к журналу и вообще к жизни. Через десять месяцев он ушёл вслед за мамой – не выдержало сердце. Со смертью отца я понял, насколько мои родители были сильно привязаны друг к другу. Раньше их стремление постоянно находиться рядом воспринималось мною как некая игра. Только со смертью родителей я понял, что это было их жизненной потребностью – держаться вместе. В одной умной книжке, которые я во множестве с жадностью поглощал в студенческие годы, прочитал о семейной паре, которая в течение долгой совместной жизни не расставалась ни на день, до самой смерти одного из супругов¹. Примерно то же, наверное, можно было сказать о моих родителях.

С тех пор меня не покидало чувство вины за то, что я был недостаточно внимателен к ним и так по-настоящему не узнал их при жизни.

¹ Русский поэт, прозаик, философ, литературовед Д.С.Мережковский (1866–1941) и его жена – поэт, прозаик, мемуарист и литературный критик З.Н.Гиппиус (1869–1945), эмигрировавшие после Октябрьской революции в Париж и проведшие там остаток своей жизни, гордились тем, что не разлучались после бракосочетания друг с другом ни на один день.

Я всегда гордился своим именем. Я чувствовал его силу. Оно охраняло меня, это имя императоров и первооткрывателей, имя сильных людей мира сего. Я чувствовал, как иногда оно определенным образом влияет на людей, с которыми сталкивала меня жизнь, заставляя их инстинктивно подчиняться моей воле. Я ощущал ставшую для меня почти явственной материальность собственного имени. Оно восхищало меня незыблемостью и величием очертаний, когда я видел его выведенным на бумаге или представлял себе на фоне бескрайней небесной синевы...

Сейчас, когда спустя довольно длительное время мне снова пришлось вспомнить о собственном имени, его буквы уже не были так стройны и величественны. Их очертания были порядком размыты, как размывается потоками воздуха след, оставленный в небе пролетевшим самолётом, как размывают вешние воды стройность речных берегов, как солнце размывает ледяной узор на оконном стекле.

Но самое, может быть, ужасное заключалось в том, что я явственно стал ощущать размытость моей связи с ним. Я уже не ощущал его мужественную силу и совсем не чувствовал себя под его защитой. Моё имя становилось для меня чужим.

В другой ситуации я бы, наверное, испытал ужас от сделанного открытия, но только не сейчас. Сейчас я был переполнен буйным духом авантюризма и этот дух нёс меня всё дальше, не давая возможности задуматься.

Миновав служебную калитку аэропорта, мы вышли в город. Серёгин экипаж быстро растворился в гуще людей, а он задержался, чтобы попрощаться со мной.

– Ну, бывай дружище, вот ты и в заданной точке. – Серёга протянул мне свою пятерню. – Тебе вообще куда? Может нам по пути, так я подброшу. Меня встречают.

Я зябко поёжился, озираясь по сторонам – мне показалось, что сентябрь в Поволжье какой-то холодный, о чём я тут же между делом сообщил Серёге.

Он вытаращил на меня свои глаза и смотрел так молча некоторое время, а потом выдохнул из себя:

– Ты куда летел-то вообще?

– С тобой.

– Понятно, что не с дядей Васей. Тебе куда надо было лететь? В к а к о й г о р о д т ы х о т е л п о п а с т ь ?

Серёга говорил всё громче и медленнее, старательно проговаривая слова. В общем, он говорил со мной так, как здоровые люди нередко разговаривают с душевнобольными.

Я понял, что заблуждался относительно конечной точки нашего полёта, но это меня несколько не расстроило.

– Так это не Поволжье?

– Нет!

– Но ведь вы возили оборудование оттуда, вот я и подумал... Где же мы тогда? – в моих словах не было и тени беспокойства.

Серёга продолжал изумлённо смотреть на меня, а потом произнёс название города, в котором мы находились. Оказалось, что мы прилетели в Прибайкалье.

– Фрахт у нас был, понимаешь? Завод арендовал у нашей авиакомпании два самолёта. Фрахт закончился и мы снова дома. Я думал, ты знаешь... – чуть ли не оправдывался передо мной Серёга.

Он был явно озабочен и терялся в догадках относительно такого довольно странного пассажира, как я, и, чувствуя свою некоторую ответственность за меня, не знал, что теперь со мной делать.

– Как же ты теперь попадёшь в своё Поволжье?

Я посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся обаятельной улыбкой полного идиота.

– Да мне всё равно – Байкал, так Байкал. Оно даже лучше, что так – я здесь никогда не был. Будет интересно посмотреть. Мне бы перезимовать где-нибудь.

Серёга окончательно решил для себя, что я ненормален. С грустью и даже некоторой долей сострадания посмотрев на меня и, видимо на что-то решившись, он только уточнил для верности:

– А твои родные?..

– Да всё нормально. Нет у меня никого. – преувеличенно бодро ответил я.

– Ну нет, так нет. – кивнул Серега и повёл меня куда-то через оживлённую площадь.

На другом конце площади стояли в ряд припаркованные машины. Нашим оказался старенький серебристого цвета «японец». Серёга дружески поздоровался с его водителем и шлёпнулся на переднее сиденье, показав мне садиться сзади.

Я сел в машину. Водитель, парень лет двадцати пяти, не проявил ко мне никакого интереса.

– Поехали на Сурикова, к Вовчику Николаеву – дело одно надо уладить. – сказал Серёга и мы тронулись.

– Только это... – спохватившись произнёс я, – документов у меня нет...

– Я же сказал – нет так нет. На этом точка. – невозмутимо отреагировал на мои слова Серёга, словно они красноречивее всего подчёркивали поставленный им чуть раньше диагноз.

Водитель чуточку удивлённо посмотрел на меня в зеркало заднего обзора и тут же снова потерял ко мне интерес.

Ехали недолго, минут двадцать, но за это время я успел понять, что город, в котором я оказался, большой, и живёт своей довольно оживлённой жизнью.

Въехали на какую-то небольшую улочку и остановились возле просторного трёхэтажного здания с большими окнами, сложенного из белого кирпича. Справа от входа в здание красовался огромный стенд, раскрашенный в цвета государственной символики и изображавший что-то военно-

патриотическое. Стенд поприветствовал меня энергичным лозунгом: «Вступая в ряды РОСТО, ты помогаешь обороноспособности своей страны!»

Мне совсем не хотелось никуда вступать. И обороноспособность страны меня беспокоила только однажды, в связи с необходимостью обучения на военной кафедре университета.

Оставив водителя в машине, мы с Серёгой вошли внутрь здания. По дороге Серёга объяснил:

– Это наш областной ДОСААФ. Тут обитают замечательные ребята!

Широкие коридоры здания РОСТО-ДОСААФ были пусты. Вдоль стен коридоров повсюду были развешаны стенды, показывающие рекрутам, как надо правильно надевать противогаз, оказывать первую помощь при отравлении ядовитыми газами, или производить обеззараживание техники после ядерного взрыва. В промежутках между стендами виднелись дверные проёмы классных аудиторий. Каждая дверь была снабжена табличкой, объясняющей, чем именно здесь надо заниматься: «класс ПДД», «парашютный класс» или «класс радиотехнической подготовки».

Наш путь лежал в «планерный класс», разместившийся где-то в конце коридорного зигзага. В классе сидело двое. Застелив парту в самом центре аудитории газетой, эти двое что-то размеренно выпивали, смачно закусывая кабачковой икрой из банки и аккуратно нарезанными хлебом, салом и луком. Это моё первое наблюдение в дальнейшем оказалось абсолютно верным: сколько бы лётчики (а это были именно они) не пили, в каких бы условиях им не приходилось это делать, до какого бы состояния они себя не доводили количеством выпитого – делали они это всегда невозмутимо размеренно и даже с некоторой долей торжественной обречённости.

Первому, широкоплечему с мясистым носом, было на вид лет сорок пять. Второй, сухощавый с изъеденным оспинами лицом был лет на пять моложе своего товарища, хотя, как я уже говорил, в моём представлении возраст встречавшихся мне лётчиков был величиной исключительно условной, по большей степени зависевшей от моего собственного воображения.

Было около одиннадцати утра. Видимо, они начали не так давно. На наше появление в классе оба отреагировали одинаково: каждый вместо приветствия взял свой только что опустошённый стакан и, продолжая жевать, придвинул его в нашу сторону, приглашая таким незамысловатым образом к столу. Затем худой потянулся к начатой плоской бутылке с неясным содержимым густого кофейного цвета.

Серёга крикнул от удовольствия и потёр руки, усаживаясь за стол. Вовремя успев сообразить, я отрицательно замотал головой и решительно отодвинул стакан от себя. Возражать никто не стал. Разливающий кивком указал мне на еду на столе. Я не стал жеманничать и подцепил на горбушку чёрного хлеба кусок сала побольше.

Серёга выпил. Пожевали. Закусив, Серёга показал мне сперва на худого, а потом на того, что постарше:

– Вовчик Николаев. Иван Петрович Коваленко. Мировые ребята.

«Мировые ребята» поочерёдно протянули мне свои руки.

– Вовчик.

– Петрович.

– А это... – Серёга запнулся, сообразив, что не знает, каким именем меня представлять.

– Костя. – представился я первым пришедшим в голову именем.

– Да, это Костя. – облегчённо вздохнул Серёга. – Свой парень. Надо пристроить до весны.

– Пристроим Костика. – отозвался Вовчик, наливая в стаканы.

Серёга едва заметно вздохнул с облегчением. Поболтав минут пять на какие-то общие для него с мировыми ребятами темы и, выпив с ними ещё по разу, Серёга быстро поднялся, сказал, что у него неотложные дела и его ждут, после чего, наскоро распрощался со всеми и быстро удалился.

Мы остались втроём. Довольно скоро я сделал заключение, что мои новые знакомые люди либо вовсе не любознательные, либо чрезмерно деликатные, боящиеся ранить душу собеседника неосторожным вопросом. К такому выводу я вынужден был прийти, поскольку за время нашего запоздалого завтрака, отмерявшееся скоростью поглощения содержимого бутылки, всё их общение со мной свелось к периодическому подсовыванию новому знакомому еды. И всё.

Пристроили меня быстро и просто.

Покончив с завтраком, Вовчик с Петровичем почти одновременно повернулись ко мне. Их лица имели вопросительное выражение, причём, какое-то по-одинаковому вопросительное, видимо, сосредоточенное на схожем вопросе. Что-то недолго посоображав, Вовчик махнул рукой и повёл меня в коридор. Кивнув сам себе головой, Петрович пошёл следом. Метрах в десяти от класса, в самом конце коридора, возле двери служебного выхода находилась довольно просторная каморка. Туда мы и вошли. Вся каморка была заставлена многоярусными стеллажами, на которых покоились какие-то брезентовые тюки, впоследствии оказавшиеся парашютами. На нижних полках стеллажа, находившегося у дальней стены, были оборудованы лежанки, устланные незамысловатым казённым имуществом.

Кивнув на лежанки, Вовчик произнёс:

– Мы с Петровичем, вообще-то, в основном тут и обитаем. Если хочешь, можешь тоже с нами – места хватает. Если не хочешь – тут наша общага за углом. У нас с Петровичем там своя комната. И койка свободная есть. Решай.

Я пожал плечами и сказал, что остаюсь здесь.

– Кормёжка в столовой в общаге. Если что, скажешь, что ты из персонала лётного клуба – тебя накормят. Начальство мы предупредим. Ну вот и всё. Живи.

Я оказался здесь на самом пороге сибирской зимы. Это, пустяковое на первый взгляд, обстоятельство имело для моего дальнейшего существования довольно большое значение. С первых же минут появления в областном

обществе добровольных помощников армии и флоту я оказался предоставленным в своё полное распоряжение. Это очень контрастировало с моим пребыванием в Слепокуровском. Да и со всей предыдущей жизнью тоже.

С наступлением зимы жизнь в оборонно-спортивном обществе замирала, сводясь к необходимому минимуму классной теоретической подготовки и рутинной возне с инвентарём. Мои новые товарищи оказались инструкторами лётной подготовки. Были они, несмотря на свой возраст, устоявшимися холостяками и всё тёплое время года почти безвылазно пропадали на клубном аэродроме. С наступлением холодов Вовчик и Петрович перебирались в город, изредка занимаясь здесь теоретической подготовкой курсантов или управляясь с обширным хозяйством общества на заднем дворе. Но большей же частью, они «закаляли» свой организм алкоголем и слонялись без дела, причём, это довольно однообразное занятие им нисколько не надоедало.

Происходило это всегда примерно одинаково. Проснувшись часов в девять, они ещё некоторое время лежали на своих ложах, а потом одновременно вставали и шли умываться. Умывались долго и тщательно, старательно приводя себя в порядок. После завершения утреннего туалета они разделялись. Петрович обычно отправлялся в столовую или магазин за едой. Вовчик же уходил запасаться горячительным. Ближе к одиннадцати приятели воссоединялись и завтракали. Потом они придумывали себе какое-нибудь занятие с раскладкой, переборкой, перетаскиванием и починкой инвентаря. Потом обедали. После обеда обычно они заваливали в гости к инструкторам – радистам или парашютистам, и коротали там время в разговорах, либо отправлялись «в культурный поход» бродить по городским окрестностям, заходя по пути в различные рюмочные и распивочные. Поужинав, они, запасаясь предварительно спиртным, заходили в какой-нибудь пустой класс и продолжали там любимое занятие. Нередко к ним присоединялись другие инструкторы, «вливая» принесённое с собой, в большую реку общего застолья. Получалась целая пирушка.

Чем больше Вовчик с Петровичем пили, тем больше меланхолии накатывало на них и тем ниже опускались их головы. Общее настроение приятелей выражал более разговорчивый Вовчик. Молчаливый Петрович внимательно слушал друга и во всём с ним соглашался, в знак этого периодически кивая тяжёлой головой.

К концу застолья Вовчик, обняв Петровича и склонив свою голову к самому столу, пускал слезу, всхлипывал и заводил всегда одно и то же: «Мы же истребители... Я же военный лётчик! У меня три катапультирования! Я жить без неба не могу!..» Петрович понуро кивал в такт произносимым другом словам и тоже пускал одинокую слезу.

На этом всё и заканчивалось. Народ потихоньку разбрехался, а Вовчик с Петровичем убирались в каморку спать.

Как я и предположил в нашу первую встречу, мои новые знакомые предпочитали обходиться со мной без лишних расспросов, в душу не лезли и никакими обязанностями не обременяли.

Чтобы хоть как-то убить время, я слонялся по учебному корпусу, разглядывал стенды в коридорах и классах или навязывался кому-нибудь помогать. Очень скоро я понял, что помогать Вовчику с Петровичем было делом бессмысленным и даже затруднительным, так как труд их носил по большей мере случайный и эпизодический характер и, к тому же, не отличался какой-либо продуктивностью. Я пробовал предлагать себя в качестве помощника парашютистам и радистам, постоянно копавшимся со своими стропами, куполами, приемниками и передатчиками, но эти ребята отнеслись ко мне с немалым недоверием, видимо считая, что услуга такого некомпетентного помощника как я не могут принести ничего, кроме вреда. Лётное обмундирование, подаренное Серёгой Беловым, их нисколько не обманывало.

В моих услугах никто не нуждался. Впервые в своей жизни я оказался не нужным никому! При этом у меня была крыша над головой, еда, одежда и даже своя комната в общежитии с собственной кроватью и чистым бельём, куда я нередко убегал, утомлённый тоскливым однообразием повседневной жизни соседей-авиаторов.

Всю жизнь стремившись к уединённости и даже одиночеству, теперь я в полной мере мог насладиться этим, ощущая себя одиноким островком посреди безбрежного людского моря, или даже одинокой кочкой посреди бескрайней болотной зыби. Последнее сравнение более точно соответствовало моим душевным ощущениям и чаще всего приходило в мою голову.

Чем короче и холоднее становились дни, тем больше тоски и тревоги накатывало на меня. Я страшился подумать о том безбрежном море растлевающей остатки ощущения моей принадлежности к роду разумных существ бездеятельности, которое сулила мне впереди такая жизнь. Я даже стал скучать по Слепокуровскому с его незатейливым, но вполне понятным укладом жизни, в котором мне отводились определенное место и определенная роль. Здесь же места было, сколько пожелаешь, но роли мне не отводилось никакой. Я не был востребован ни как работник, ни как друг, ни как человек вообще. Мое существование здесь стало напоминать жизнь аквариумной рыбки, которую заботливые хозяева лишь периодически кормят и которой меняют воду в аквариуме. В жизни домашней кошки виделось мне смысла куда больше, чем в моей теперешней. Да что там, кошки! В жизни той же рыбки, с которой я себя невольно сравнивал, было куда больше смысла, чем в моей собственной!

У меня даже не было имени! Вы помните, я назвался Костей при знакомстве с Вовчиком и Петровичем. Это было первое и единственное упоминание моего имени здесь. Пусть даже это имя и было вымышленным. Моё имя здесь никого не интересовало, как не интересовал и я сам.

Я боялся, что тихо сойду с ума. «Хоть бы посватался кто...» – горько шутил я над собой в такие минуты.

С наступлением стойких холодов я решился на отчаянно дерзкий, как мне казалось, шаг. Я решил выбраться в город. Меня страшила участь бомжа, не имеющего документов, застигнутого милицией на улице и заточённого в

«кутузку». Но этот страх был ничем по сравнению со страхом сойти с ума в стенах оборонного общества от навалившихся на мои плечи одиночества и ощущения собственной ненужности.

Для вылазки в город мне требовалась тёплая одежда, которой у меня не было. Я по-прежнему «щеголял» в том, что мне подарил в день моего бегства из Слепокуровского Серёга Белов. Здания учебного корпуса и общежития располагались совсем близко друг от друга, поэтому, до холодов мне без труда удавалось обходиться тем минимумом вещей, который у меня имелся. Но совершенно невыносимым делом было сунуться в город в сибирскую стужу налегке. Будучи от природы гордым человеком, не растерявшим до конца свою гордость даже в непростых перипетиях слепокуровского периода жизни, я пару дней мучался терзаниями, вызванными необходимостью просить. На третий день, пересилив свою гордость, я подошёл к Вовчику и выпалил почти на одном дыхании:

– Вовчик, слышь, мне бы одежонку какую зимнюю... у меня и денег немного есть... правда совсем немного...

Для убедительности я делал рукой в кармане брюк какие-то движения, будто ощупываю пальцами банкноты. Кажется, я и в самом деле их ощупывал.

Вовчик оторвался от своего занятия (он, наверное, в двадцатый раз без нужды разбирает и собирает один и тот же агрегат какого-то летательного устройства) и посмотрел на меня с таким искренним удивлением, с каким неисправимый разгильдяй и двоечник смотрел бы на пятёрку по физике в своем дневнике.

Затем его лицо просияло и он улыбнулся мне во всю его ширь.

– Об чём речь, дружище!

Вовчик сноровисто поднялся и повёл меня по коридорам учебного корпуса. Вскоре мы пришли в какое-то просторное помещение, оказавшееся вещевым складом. Вовчик кивнул, указывая на меня молодому парню, видимо, хозяину этого помещения, и не терпящим возражений голосом заявил тому, что вот этого летуна (он так и сказал, «летуна») нужно одеть по погоде.

Не имея видимых возражений, хозяин склада завёл нас внутрь, провёл в самый дальний угол и, откинув шторку, показал на груды сваленных в кучу бушлатов, шапок, рукавиц и ботинок.

Недолго покопавшись в этой ношеной, но вполне ещё приличной рухляди, я, при деятельной помощи Вовчика, отобрал себе вполне приличные пятнистый бушлат защитного цвета, чёрную ушанку с кожаным верхом и тёплые тупоносые ботинки.

Быстро нахлобучив всё это на меня, Вовчик отошёл чуть подальше, придирчиво осмотрел с ног до головы и довольно крикнул. Я тоже глянул на себя в большое ростовое зеркало. С виду я походил на что-то среднее между лётчиком гражданской авиации с какого-нибудь забытого всеми заштатного аэродрома и резервистом, призванным на краткосрочные военные сборы, которых за пугающий и мало имеющий общего с военной выправкой вид в народе прозвали «партизанами». «Ничего себе видок. Миленко и мерзко», – ужасаясь собственному виду, подумал я.

В общем, расстраивался я по этому поводу совсем недолго. Ведь теперь у меня появилась настоящая зимняя одежда! А ещё Вовчик... Его энергичное дружеское участие в таком важном для меня вопросе снова возвращало меня к жизни и вызывало радостные мысли о том, что до меня всё же кому-то тут снова есть дело.

Впрочем, это обстоятельство радовало меня совсем недолго. Решив вопрос с моей экипировкой, Вовчик тут же впал в своё привычное полусонное состояние, которое я называл деятельным бездельем, и в котором у Вовчика с Петровичем для меня совсем не находилось места.

Пусть так! Мне нечего было с этим поделаться, и я вышел в город.

Незнакомый сибирский город, окутанный зимним туманом, пугал так, как незнакомое место пугает кошку, оказавшуюся в нём не по своей воле. Поначалу я страшился уходить далеко от места своего обитания, опасаясь быть задержанным за свой странный и дикий вид милицией. Немного оглядевшись, вскоре я понял, что этот город полон бомжами и мой несколько милитаризированный вид на их общем фоне выглядел вполне аристократично.

Бомжи тут были повсюду. Они копошились в помойках, шныряли по рынкам, терпеливо ждали в тёплых помещениях столовых, когда очередной посетитель покончит со своей едой, чтобы потом, не теряя ни секунды, точными натренированными за годы скитаний движениями выхватить остатки пищи прямо из-под носа испуганного посетителя. Они толкались у входов в магазины, у церковных оград и в других присутственных местах и никто не обращал на них никакого внимания, разве что грубо отталкивал или кричал, если бомж по нечаянности осмеливался подойти к кому-нибудь ближе допустимого расстояния. Я никогда раньше не видел столько бомжей. Хотя было бы честным признать, что раньше я их вообще не замечал. Раньше мне не было до них никакого дела. Так же, как сейчас никому не было дела до меня.

Немного осмелев, я стал потихоньку увеличивать радиус своих путешествий, всё дальше и дальше отдаляясь в них от здания учебного центра.

Город был большой и старинный, без какой-либо системной застройки. Стародавние купеческие особнячки и избы, находящиеся в довольно жалком состоянии, соседствовали в нём с новодами хрущёвско-брежневской эпохи. Улицы города растекались по нему самыми разными замысловатыми линиями. Иногда некоторые улицы вдруг обрывались, а потом снова начинались в каком-нибудь неожиданном месте. Они то сужались, то неожиданно расширялись, превращаясь в мощный проспект. В целом я находил этот город грязным и неудобным. Ощущение его грязности не мог скрыть даже густой снежный покров, прочно накрывший город до самой весны.

Я неторопливо бродил по городу, озираю его улицы и пустые скверы, украдкой рассматривал лица прохожих. Иногда, если на улицах было не особенно многолюдно, я останавливался у витрин магазинов и подолгу разглядывал их. Размеренная упорядоченность жизни этих витрин, а я воспринимал их непременно живущими своей собственной, незаметной для глаз большинства людей жизнью, напоминала такую же размеренную и упорядоченную прежнюю мою жизнь. Нельзя сказать, что я тосковал по ней, но

воспоминания об этой жизни делали легче мою жизнь настоящую, отодвигая хоть на короткое время, ощущение собственной ненужности.

Я сторонился рынков и других мест с большим скоплением народа, почти животным чутьём ощущая исходившую для меня оттуда потенциальную опасность. Единственным изредка посещаемым мною публичным местом были кинотеатры.

К походу в кино готовился долго и основательно. Часами я ходил от одного кинотеатра к другому и изучал афиши. Кинотеатров в городе было четыре и все они, в общем, располагались не очень далеко один от другого, так что, снование между афишами не доставляло мне особых хлопот. Определившись с выбором фильма, я затем долго выбирал время сеанса, словно ужасно занятый человек, стеснённый многими важными делами и обстоятельствами во времени. Билет всегда покупал заранее, за два-три дня до показа. Положив купленный билет в карман, я ходил в мечтательном предвкушении просмотра и глупо при этом улыбался. Попутно обдумывал, что бы такое вкусное прикупить с собой в кино, подсчитывая в уме остатки своих сбережений.

К кинотеатру я приходил заранее, часа за два до сеанса. Разгуливал вдоль кинотеатра и, уже в который раз, без устали долго и старательно изучал афиши. Потом я заходил в какой-нибудь расположенный неподалёку магазинчик и покупал всегда одно и то же – литровую бутылку сладкой газированной воды, сделанной на настоящей эссенции и сахаре, а не на заменителях, и большой пакет коричневых пряников. В зал я заходил самым первым и выбирал себе место получше – в центре, ближе к верхним рядам. Гас свет, раздвигался занавес. С этой минуты я весь отдавался фильму, не забывая при этом, однако, про пряники и газировку.

Из кинотеатра выходил всегда в приподнятом настроении, которое давало мне заряд бодрости на пару дней, а то и на неделю. По скудности личного бюджета я ходил в кино не чаще двух-трёх раз в месяц, но тем значительнее для меня был каждый такой поход.

Вот, в общем, и все мои занятия той холодной зимой...

Крепчали морозы. Вовчик с Петровичем продолжали изнурять себя алкоголем и деятельным бездельем. Я продолжал свои прогулки...

Даже прожив в этом городе пару месяцев, я так и не научился ориентироваться в кривизне его улиц. Часто, уверенный, что иду известным мне путём, я заходил в совершенно незнакомые мне пугающие дворы, в одном из которых меня даже как-то поколотила пьяная компания переростков, выброс гормональной агрессии которых довольно метко прошёлся по моей спине и той части тела, что была чуть ниже. Мне не было больно и даже не было обидно. Врождённая гордость нисколько не мешала мне улепётывать от них, мелькая подмётками ботинок.

Я превращался в одинокого бездомного и безродного пса, который любое из проявлений своего безрадостного существования воспринимает с покорным смирением как единственную данную ему реальность. Мне даже

стало интересно, насколько безрассудно далеко я могу зайти в своих диких блужданиях. Презрев осторожность, я ходил всё дальше и дальше.

В один из таких дней, который уже клонился к закату, стремительно уступая место сумеркам, моё неосторожно брошенное тройке слегка подвыпивших мужиков ответное слово повергло меня прямо на рельсы на одной из пустынных трамвайных остановок. Удерживаемый за руки и ноги я лежал на безлюдной улице и смотрел, повернув голову, как с горки на меня, захлёбываясь звоночком, надвигается красный вагон.

Не было страшно. Удивительные, непонятно откуда взявшиеся безмятежность и умиротворённость охватили меня в тот момент. Я смотрел на приближающийся трезвонящий трамвай, улыбался и полным спокойствия и миролюбия голосом произносил: «мужики, только не убивайте». «Мужики» пыхтели над моим ухом, крепко держали на рельсах и, не то, чтобы очень злобно, но всё же и совсем не тепло, произносили ответно с еле уловимым кавказским акцентом: «будешь знать, как дёргаться на сотрудников МВД». Они так и говорили: «на сотрудников МВД». Милиционеры так не говорят, из чего я сделал вывод, что к милиции они имеют довольно косвенное отношение и могли быть кем угодно: от кладовщиков базы тылового обеспечения или надзирателей следственного изолятора до контролёров ВОХР.

Меня спасла какая-то проходившая мимо тётка, поднявшая большой крик и с руганью ринувшаяся на моих обидчиков. Те безропотно, тихо и быстро отступили, растворившись в вечернем сумраке. Когда трамвай подкатил к остановке, я уже сидел на асфальте и, не веря, что так легко отделался, ощупывал себя. Убедившись, что со мной, кроме небольшой припухлости на правой скуле, всё в порядке, я посмотрел на тётку. Она была в изрядном подпитии и возрастом лет на двадцать старше меня.

Сидя на асфальте, я несколько раз произнёс слова искренней благодарности:

– Спасибо вам, матушка.

«Матушка», крепко обхватив мой рукав, пыталась поднять меня на ноги.

– Какая я тебе матушка. Пойдём сейчас ко мне. Я тут недалеко живу. У меня дома совсем никого и водка есть.

Я сразу протрезвел, хотя протрезветь следовало бы тётке. С ужасом и отвращением представил я себе, как эта тётка, похотливо озирая свою добычу под светом, неровно отбрасываемым засаленным абажуром кухонной лампы, протягивает мне полный стакан водки, чтобы, дождавшись, когда водка ударит в голову, затащить поскорее в свою постель.

Энергично поднявшись на ноги, я широко зашагал в проулок, громко выкрикивая имя тут же придуманного потерявшегося друга:

- Вадик! Вадик!

Тётка не отставала от меня:

- Какой Вадик? Зачем он тебе нужен? Пойдём, у меня водка есть.

- Вадик! Мне нужно найти Вадика! Я не могу уйти без Вадика! – кричал я, врезаясь как можно дальше в проулок.

Метров через пятьдесят тётка отстала. Она ещё подождала некоторое время, а потом снова зашагала к остановке.

Оставшись один, я понял, что порядком замёрз и устал и что впечатлений на сегодня мне хватит.

Кое как сориентировавшись в вечерних сумерках, я всё же нашёл дорогу домой. Я не хотел никого видеть и, тем более, не хотел никому показывать свою подбитую скулу, поэтому направился напрямиком в общежитие. Я долго стоял под душем, словно смывая с себя не только грязь городских улиц, но и грязь людских прикосновений, а потом закрылся в комнате и провалился в сон.

Мне снова приснилась виденная мною в поезде во сне деревня. Снова я бродил по её улочкам, слушал деревенские звуки и ощущал деревенские запахи. Снова мой сон привёл меня в тот двор с распахнутой калиткой. Снова мне повстречалась там и улыбнулась незнакомая молодая женщина в васильковом платке. Хотя, теперь она уже не была для меня такой уж незнакомой. Я улыбнулся ей в ответ и проснулся.

В том, что к человеку приходят одни и те же сны, нет ничего удивительного. Удивительным для меня было то, что этот сон был очень отчётливым и повторялся во множестве мелких деталей.

Два дня после этого я не выходил из комнаты общежития, иногда только спускаясь в столовую. Мне не хотелось видеть людей.

На третий день, утром лёжа в кровати, я вспомнил, что сегодня мой день рождения. Как же я мог забыть?! Двадцать девятое декабря. Канун Нового года. Мне исполнился тридцать один год.

Сделалось одновременно радостно и грустно. Радостно оттого, что у меня в этом хаосе обезличенной пустоты и ненужности всё же сохранилась частичка чего-то личного и светлого, принадлежащего только мне, с которым были связаны добрые воспоминания. Грустно же было от сознания одиночества, от того, что день рождения – всегда сам по себе грустный праздник, а ещё оттого, что я представил себе сейчас свою жену. Я пытался угадать, чем она сейчас занимается, думает ли обо мне, какие мысли обо мне приходят в её голову...

С момента моего бегства минуло уже почти семь месяцев. Достаточно большой срок, чтобы надеяться на что-то хорошее в будущем после такого странного и необъяснимого для всех поступка. Но я всё-таки надеялся. Не важно, что моя надежда не имела конкретной направленности и не рисовала конкретных картин моего будущего там, в моём родном городе.

Человек не может жить настоящей жизнью без надежды и единственным, что грело мою душу в то декабрьское утро, была эта маленькая почти необъяснимая надежда. Я даже ринулся, было, позвонить жене, ведь у меня ещё оставалось немного денег, но быстро остановился. Что я ей скажу? Какие слова найду для утешения, если сам в себе запутался ещё больше? Да и кто я теперь? Я не мог определённо ответить на этот вопрос даже себе. Как же я объясню это другому человеку? К тому же, реакция жены могла разрушить ту крохотную надежду, которая теплилась сейчас в моей груди и которой я очень дорожил. Да и муж ли я ей уже?..

Я никуда не позвонил.

12

Умывшись, я спустился в столовую. Сидя в заполненном просторном зале столовой и неторопливо жуя обыкновенную пшённую кашу, я ощущал себя принцем, дающим торжественный обед по случаю своего тезоименитства. Мне представлялось, что вся эта разношёрстная жующая масса – мои гости, проникнутые чувством торжественности события.

Через двадцать минут зал опустел и мои «гости» разбрелись-разбежались по своим делам, так и не нарушив возгласами славословий в мою честь, торжественности момента.

Я вышел на улицу. Утро было морозным и солнечным. Настроение было приподнятым. Его не мог испортить даже порядком пожелтевший синяк, всё ещё сидевший на моей скуле.

Я ощутил, что соскучился по Вовчику с Петровичем и двинул в учебный корпус. Нашёл их без особого труда. Они сидели в одном из классов и занимались реставрацией какого-то, на мой взгляд, вполне исправного стенда.

Увидев меня, они поздоровались со мной так, будто мы расстались только вчера вечером, а синяк на скуле был у меня всегда. При этом они ни на секунду не прервали своего бестолкового занятия.

Приподнятое настроение сразу улетучилось. Я развернулся и пошёл в город. Я бродил, наверное, не меньше двух часов, когда мои блуждания привели меня на одну из центральных улочек города. Улочка была довольно широкая, но очень короткая, метров сто, не больше. Раньше я никогда на ней не был, хотя часто проходил мимо неё. Улочка была пешеходной и представляла собой нечто вроде торгового ряда. По обе её стороны сплошной стеной были выстроены магазины, магазинчики, павильоны, ателье и закусочные. В промежутках между входами в заведения продавали картины и изделия народных промыслов, пели под гитару и аккордеон, или просто просили милостыню, сидя у стены на корточках с выставленной перед собой замызганной шапкой или обувной коробкой.

Улочка была оживлённой и грязной. Я несколько минут бродил между лоточными развалами картин и книг, а потом моё внимание привлекло чьё-то пение. Два высоких худых парня, видимо, студенты, пели под гитару старинную песню о том, как казаки собирались на войну. Пели очень красиво, на два голоса.

Я подошёл к ним и невольно заслушался. Постояв так немного, отошёл к противоположной стене и сел на перевёрнутый разбитый ящик, опершись о стену спиной. Парни пели, разгоняя своим пением холод, прохожие кидали им в раскрытый футляр мелкие деньги, а я слушал и думал о чём-то своём и приятном.

Слушать мне пришлось совсем недолго. Перед моим лицом возникли два спортивного вида субъекта в распахнутых модных дублёнках, с золотыми цепями поверх свитеров.

– Ты это, короче... жертва милитаризации, – один из них смерил меня презрительным взглядом, видимо, прикидывая, какой барыш я могу принести, – если хочешь тут капусту рубить, разрешение должен спросить. Разрешение денег стоит. А то прёшься в чужой огород не спросясь.

Второй «спортсмен» кивал головой в такт словам товарища.

– Ну так чё, будем разрешение покупать, или проблемы создавать будем? – говоривший вынул руки из карманов своей дублёнки и продемонстрировал здоровенные кулаки, унизанные золотыми перстнями разных калибров, а затем, для убедительности, ленивыми движениями постучал кулаком правой руки в ладонь левой.

До меня дошло, что меня приняли за попрошайку. Я стал глупо озираться по сторонам и заметил на асфальте рядом с собой обувную коробку, в которой лежала одинокая денежная бумажка. Я не знаю, лежала ли она там до моего прихода, или же её бросили уже, когда я занял это место, и имела ли вообще эта замызганная банкнота какое-нибудь отношение к происходящей истории, но на душе всё равно, сделалось тоскливо.

Я что-то пролепетал про произошедшую ошибку, про то, что был не так понят и про что-то ещё. Этот же, говоривший, быстро и без лишних слов подвёл итог нашей дискуссии. Коротким замахом тренированной ноги он сильно ударил своим тяжёлым ботинком в ящик подо мной. Ящик жалобно скрипнул и рассыпался, повалив меня на грязный утопанный и заплёванный снег.

Я поднялся и, не отряхиваясь, заковылял прочь. В спину понеслось довольное ржание.

Мне резко стали противны люди. Я не мог видеть их лица. Я не хотел слышать их голоса. В этот момент моё горло душил вопль отчаянной обиды на всё человечество.

Я знал, что где-то недалеко, правее этой злосчастной улицы, находилась река, у которой обрывался город, и я двинулся к ней. Минут через десять, я вышел на пустынную, покрытую снегом набережную. Широкая река была скована льдом, по которому, о чём-то споря, прыгали вороны. Я спустился к реке и сел прямо на снег.

Снег здесь был чистым и пушистым, совсем не таким как в городе. А ещё тут было тихо и очень спокойно. Я зачерпнул полную пригоршню снега и умыл им своё лицо. Колючее прикосновение снега приятно обжигало кожу и бодрило. Запахнув поплотнее бушлат, я уселся поудобнее, засунул руки в рукава и стал смотреть на реку и на прыгающих на ней ворон.

Эти скачущие, отчаянно ругающиеся птицы, которые меня, кажется, совсем не замечали, были сегодня моими самыми близкими друзьями. И эта охваченная льдом могучая сибирская река, это бездонное синее небо над головой сегодня были безраздельно моими. Только моими и ничьими больше...

Я просидел так до ранних сумерек. С их наступлением вороны прекратили своё веселье, дружно взмахнули вверх и с криком улетели в сторону города, поближе к теплу и к людям, оставив меня совсем одного. Я

увидел в этом довольно грустный символ. Мне показалось тогда, что даже эти вороны были лучше и естественнее вписаны в человеческое общество, чем я, один из не самых худших его представителей. Глядя им вслед, подумалось, что своим скорым отлётом вороны желали сказать мне именно об этом.

Очень хотелось есть и я, вдруг, явственно ощутил, что порядком замёрз. Поднявшись на ноги, я тоже заковылял к городу.

К своему пристанищу я пришел, когда на улице было уже совсем темно. Проходя мимо здания учебного центра, остановился у его входа и несколько секунд стоял в нерешительности, а затем, плюнув себе под ноги, зашагал дальше, к общежитию. Столовая давно была закрыта, в комнате я еды никогда не держал. Я мог поужинать у Вовчика с Петровичем, но мне совсем не хотелось видеть их пьяные лица и слушать их пьяные всхлипы, поэтому я лёг спать голодным.

В увлекательных книжках часто пишут про то, как к герою в такие моменты его жизни, обычно при свете вечерних звёзд, является чудо в виде какого-нибудь доброго и надёжного человека, неожиданно оказывающегося рядом и протягивающего руку бескорыстной помощи в самую трудную для героя минуту. Эх, если бы так было и в жизни! Ко мне никто не явился. Никто не подал мне руки.

13

Однообразная и длинная сибирская зима закончилась неожиданно. Когда чего-то очень долго ждёшь, то приходит оно всегда неожиданно. Это не я сказал, а кто-то другой, до меня. Но это совсем не меняло сути произошедшего – долгая зима закончилась неожиданно.

Раньше капли и птиц о приходе весны возвестили люди. Да-да, люди. С окончанием зимы жизнь в областном оборонно-спортивном обществе стала заметно оживать: в коридорах и классах появились во множестве незнакомые мне люди, плотным графиком пошли занятия, уезжали и приезжали машины, что-то куда-то перетаскивали и перекладывали, привозили и увозили.

Вовчик с Петровичем тоже изменились. Теперь в их совместных занятиях я стал улавливать определённый смысл, в движениях у них появились сноровка и какая-то весёлость и, самое главное, они стали обращать на меня больше внимания. То и дело теперь Вовчик, завидев меня, широко улыбался, встряхивал головой, а затем, не отрывая взгляда от моего лица, будто находил в нём источник неиссякаемого вдохновения, глубоко и мечтательно вздыхал и произносил что-то типа: «Эх, дружище, ну мы с тобой им теперь покажем!» Гориллоподобное же лицо Петровича помимо традиционного кивка головой стало вытягивать некое подобие резиновой улыбки, предназначавшейся мне. Надо было знать Петровича – какое неслыханное радушие и внимательность к другому человеку с его стороны.

Когда вошла трава, Вовчик с Петровичем засобирались на аэродром. Теперь в их поведении обнаруживалось что-то от повадки охотничьих собак, не находивших себе места в преддверии травли вставшего из спячки медведя.

– Дружище! – услышал я как-то утром позади себя голос Вовчика.

Как обычно, я слонялся по коридорам учебного центра и от нечего делать, подглядывал в приоткрытые двери учебных классов. От неожиданности я остановился и медленно обернулся.

Вовчик улыбался мне во всю ширь своего щербатого рта.

– Дружище! Не хочешь ли попрыгать с парашютом?

Я встал как вкопанный, открыл рот и с изумлением смотрел на Вовчика.

– Ну так что, хочешь?! – энергично пытал меня Вовчик.

Так и не закрыв рот, я согласно кивнул.

– Ну вот и лады. В воскресенье с утра едем, не теряйся!

Где уж тут было потеряться. Этим же вечером я нашёл Вовчика с Петровичем в одном из классов, чтобы устроить им подробный допрос. Лётчики пили чай со сгущёнкой. Отсутствие спиртного на столе поначалу сбilo меня с толку, но, приглядевшись, я увидел, что не ошибся. Это были Петрович с Вовчиком.

– А, дружище! Подваливай к столу. – махнул мне рукой Вовчик.

Петрович встал со своего места, подошёл к шкафу, встроенному в стену класса, извлёк из него эмалированную кружку, вернулся на своё место и поставил кружку передо мной. Вовчик налил в кружку чая и весело уставился на меня.

– Ну, так что там с прыжками? – спросил я его, отхлебнув горячего чая из кружки.

– Да всё путём. Я ж тебе говорил – в воскресенье заезжаем на аэродром. Там сейчас пожарники прыгают. Ну и ты под эту марку сиганёшь.

– А пожарным зачем прыгать? – удивился я.

– Как зачем? Тайгу тушить. Жара начнётся, так и будет полыхать везде. В иные места только с воздуха и можно попасть. Вот этих гавриков со всей области и собирают на отработку прыжков. Обязательная программа. Толку от этих небесных воинов почти никакого, зато начальство отчитается о полной готовности к сезону пожаров.

Петрович авторитетно кивнул и засунул в рот кусок хлеба, густо намазанного сгущёнкой.

– Страшно как-то без подготовки. – струсил я.

– А ты что, раньше никогда с неба не сигал? – удивился Вовчик, словно впервые увидел человека, не имевшего дела с парашютом.

– Никогда.

– Бывает. – вставил философски Петрович.

– Бывает. – виновато согласился я.

– Ничего, поправим. – ободрился Вовчик. – Вообще-то на наземную теоретическую подготовку отводится минимум двое суток...

Он почесал затылок.

– Так, когда же проходить?! Сегодня пятница!

– Да ты не переживай, дружище, мы это дело ускорим без ущерба для качества. Инструктаж пройдёшь по дороге. Чувствую я в тебе лётную кровь.

«С чего бы это? – подумал я. – Наверное, с трезвых глаз».

...В воскресенье рано утром загрузились в армейский ГАЗ с кунгом и поехали. Кроме нас троих в просторном кунге разместились инструктор-парашютист Олег – рослый атлетично сложенный парень, и две кокетливые девицы, лет двадцати трёх каждая.

Едва сев на своё место, Олег скрестил руки на груди, привалился к стене и закрыл глаза. Девицы же наоборот, проявляли необычайную живость, без остановки стреляли глазами по сторонам, говорили больше и громче положенного в таких случаях, и хохотали по любому поводу, делая это особенно громко. Из всего этого я заключил, что девицы изрядно нервничают, но никак не мог понять причину их нервозности.

Внешне девицы выглядели весьма нелепо – довольно рослые и статные, они были облачены в синие лётные комбинезоны с чужого плеча с подвёрнутыми рукавами курток и брючинами, на лицах у них красовался парадный макияж, а на ногах – кокетливые туфельки с умопомрачительной длины шпильками.

Вовчик непринуждённо болтал с девицами, Петрович внимательно слушал беседу, периодически кивал и дарил девицам свою шикарную улыбку. Я не принимал в этом участия. Уставившись в окно, я разглядывал дорожный пейзаж и никак не мог избавиться от тревожившей меня мысли – мы уже в дороге, но когда же будет инструктаж? Судя по обстановке в будке, никто не собирался меня инструктировать. А ведь обещали по дороге инструктаж! Обманули! Забыли! Тревожное чувство во мне всё нарастало, но, чувствуя определённую неловкость перед незнакомыми девицами, я стеснялся задать Вовчику с Петровичем мучавший вопрос.

Ситуацию вскоре прояснила одна из девиц. Поймав паузу в разговоре, она вцепилась в лицо Вовчика пристальным взглядом и, старательно пряча тревогу, но не теряя кокетства в голосе, произнесла:

– Вовчик, мы уже едем-едем, а когда же будет инструктаж?

– Да, в самом деле, был обещан инструктаж по дороге. Когда же? – вслед за подругой произнесла вторая девица, отличавшаяся некоторой высокомерностью и высокопарностью слога, и тоже упёрла свой пристальный взгляд в лицо Вовчика.

«Ах, вот оно что! – усмехнулся я про себя, – вот она причина нервозности. Ну что, Вовчик, тоже почувствовал в них лётную кровь? И когда только успел? Давай, объясняй, а мы послушаем».

Эти слова несколько не смутили Вовчика. Широко оскалив рот, он радостно тряхнул головой.

– Конечно, по дороге инструктаж обещан. Всё будет, как и обещано.

– Так начинайте! – наседали девицы.

– Да рано ещё.

– Как это, рано?!

– Так в самолёте инструктаж будет. По дороге в самолёте. Поняли?.. А вы чего решили подумать?

Вовчик, довольный собой, заржал, Петрович растянул резиновую улыбку шире обычного, Олег открыл глаза, бросил на Вовчика выразительный ироничный взгляд и снова закрыл глаза.

– Ну девки дают! – эта фраза адресовалась Вовчиком мне. – Трепыхаются чего-то, суетятся. Чего суетиться? Всё будет путём. Правда, дружище?

Я вяло улыбнулся Вовчику и отвернулся к окну.

Дальше ехали молча. Девыцы скисли и умолкли, Вовчик повернулся к Петровичу и стал тому негромко что-то рассказывать, я же, не отрываясь смотрел в окно.

Выехали за город, некоторое время бежали по шоссе, а потом свернули на ухабистую грунтовую дорогу. За окном поплыли поля, перелески, деревни и деревеньки, пасущиеся стада, ручьи и речушки, мосты и мостики через них. Я поймал себя на мысли, что пейзаж за окном меня уже не волнует так, как это было почти год назад, во время моего бегства. Уже не было в нём мистической таинственности незнакомого мира, и пасущиеся стада коров не вызывали моего душевного трепета, как раньше. Единственное, что меня волновало в тот момент, это подлинная красота здешних мест. Удивительно красивые места.

Проехали пару деревенок, стали въезжать в третью. При въезде в неё на привязи пасся телёнок. Привязью служил двигатель от вертолётa, валявшийся в пыли на обочине дороги. Это я определил по тому, что рядом пылился безжизненный вертолёт, лишённый «сердца». Повсюду вокруг него валялись в беспорядке запчасти.

От этой неожиданно открывшейся тоскливой картины я издал звук огорчения. Упадок, в чём бы он ни выражался, всегда огорчает равнодушную натуру.

Оторвавшись от своей болтовни, Вовчик посмотрел на моё печальное лицо, а потом перевёл взгляд за окно.

– Хочешь на вертолётe покататься, дружище? – Вовчик так и сказал, «покататься».

– Хотелось бы, наверное. – промямлил я.

На самом деле, мне очень хотелось этого.

– Ну, тогда решено, покатаешься.

– А на каком? Что за модель?

Я уже представлял себе красивое и блестящее чудо техники, на котором скоро полечу. Для ясности картины в моём воображении недоставало некоторых деталей, которые я хотел получить у Вовчика.

– Да на этом. – он простодушно кивнул в сторону груды металла с теленком на привязи.

– А разве э т о летает?!..

От изумления я приоткрыл рот.

– Конечно, летает. Борька Сырцов позавчера тут застрял, обломался по мелочи. Ну и пришлось раскидать. Завтра железку выточат, Борька снова всё скидает, и вперёд.

Кататься сразу расхотелось. Картина была такая, на мой взгляд, ужасная, что теперь меня никто не смог бы убедить, что «это» летает.

Я произнёс что-то невнятное, означавшее, что пока, несмотря на все мои желания, не имею никакой возможности к прогулкам на вертолётах.

Вовчик пожал плечами и вернулся к своей болтовне.

Часа через два с половиной после выезда, мы были на месте. Сразу при въезде на аэродром располагались административные и жилые бараки, склады, столовая, медпункт и много ещё чего. Просторное поле аэродрома, занимавшее всю оставшуюся часть небольшой равнины, с трёх сторон было окружено сопками. С четвёртой стороны по единственной пыльной дороге приехали мы. Вдоль поля красными игрушечными фигурками красиво выстроились двухместные учебные самолётики «Як». На их фоне пара «Ан-2», нескромно выползших на поле и стоявших особняком, казались гигантами.

Мы выгрузились из машины. Вовчик с Петровичем передали меня с девицами в надёжные руки Олега, и ушли по своим авиационным делам. Для начала Олег повёл нас на склад вещевого имущества выбирать ботинки, шлемы и парашюты.

Вся территория аэродрома была запружена колоритного вида мужиками самого разного возраста. Были они плохо бриты, ещё хуже стрижены и уж совсем нечёсаны. Одеты же они были во все мыслимые и немыслимые виды амуниции цвета хаки, различавшейся, кроме кроя, ещё степенью жёванности. На ногах каждого красовались кирзовые сапоги с форсисто заломленными голенищами. Разбившись на кучки, мужики о чём-то живо и весело разговаривали. Увидев девиц, они, вдруг, стали сопровождать своё общение взрывами дружного хохота, больше походившего на лошадиное ржание, а некоторые, те кто помоложе, как бы между прочим, стали важно прохаживаться поодиночке в поле зрения женского пола.

– Пожарные. – кивнул в их сторону Олег, лицо которого тут же озарила ироничная улыбка.

– А чего они гуляют? – глупо хлопая ресницами, спросила первая девица.

Обе девицы, прибыв на аэродром, уже не скрывали своего испуга. Испуг действовал на них оглупляюще. Сказать по правде, я тоже был немного напуган, но вида не подавал.

– По нормативу у них десять прыжков разной степени сложности. Сегодня – седьмой прыжок, с планирующим парашютом.

– Так чего они не прыгают? – девица была неумолимо последовательна.

– Скорость ветра великовата.

– А мы?! – девицы крепко сцепились руками.

– Стихнет, наверное. – невозмутимо сказал Олег.

Мы вошли в склад. Олег стал подбирать нам снаряжение. Я всё ещё верил в неизбежность своего прыжка, о котором уже сожалел, поэтому со всей серьёзностью взялся за дело. Девицы сходу заупрямились и сказали, что им никакие ботинки не нужны.

– Но как же вы будете прыгать? – удивлялся инструктор. – На шпильках даже и думать нечего. На пожарников не смотрите – они перед каждым прыжком на грудь хорошо принимают, без этого в самолёт никак не сядут. Так что, им и в своих кирзачах вполне комфортно.

Девицы не глядя, схватили по паре первых попавшихся под руки парашютных ботинок на толстой подошве, прижали их к груди и быстрым шагом направились к выходу.

Подобрав себе ботинки, я переобулся. Отложив в сторону парашют и шлем для меня, мы с Олегом вышли наружу. Девицы с ботинками, прижатыми к груди, затравлено смотрели в нашу сторону.

– Вы посидите пока в классе. Как ветер стихнет, я вас позову.

Олег отвёл нас в один из барачков. Там он усадил нас с девицами в каком-то помещении, действительно, похожем на учебный класс, и ушёл.

Оставшись без свидетелей (я, видимо, был не в счёт), девицы швырнули ботинки в угол и возбуждённо-напуганно посмотрели друг на друга.

– Как хочешь, Наташка, а я отсюда только в машину выйду, когда обратно поедем. – сказала подруге вторая, высокомерная.

– Я тоже, Катюша, только в машину. – сладкоголосо вторила ей первая.

«Паршиво», – подумал я, плюхнувшись на стул и взяв со стола подвернувшуюся под руку тетрадку.

Тетрадка оказалась журналом прыжков какой-то спортсменки. Меня удивило несоответствие между сотнями, записанных в активе прыжков и почти юным возрастом прыгуньи. Когда успела столько напрыгать? Вот девка даёт! Мастер спорта уже! А жить когда же?

А может это и есть настоящая жизнь? Ты-то сам, чего нажил?

Мне стало грустно, даже тоскливо. Подленькое чувство зависти этой незнакомой мне девушке окончательно испортило настроение.

Машинально я стал листать пухлую тетрадку:

дата... областные соревнования в... оценка: «отлично»...

дата... зональные соревнования в... групповой прыжок ... фигура... категории сложности... оценка: «хорошо»... замечание: разброс группы при выполнении фигуры...

дата... соревнования где-то там... снова «отлично»...

дата... республиканские соревнования в... оценка: «удовлетворительно»... замечание: грубая ошибка при отделении от самолёта...

дата... соревнования... групповой прыжок... оценка: «неудовлетворительно»... (надо же, бывает и такое), замечание: грубая ошибка при отделении... смерть одного из спортсменов группы.

Я швырнул тетрадку на стол и пошёл из барака. Настроение стало совсем поганим. Ветер, напуганные девицы, теперь эта тетрадка... надо было найти Олега, чтобы он внёс ясность. Видать, опасное мероприятие мне предстоит. Хотелось знать, насколько опасное.

Олега я нашёл на лётном поле. Он стоял с кем-то из аэродромных (им оказался один из лётчиков «Ан-2») и разглядывал небо. Увидев меня, Олег махнул, подзывая. Я подошёл.

– Ну что? – в моём вопросе звучала надежда.

На то, что не прыгнем – так думал я; на то, что прыгнем – так думал Олег.

– Нормально. – обнадеживал он. – Ветер шесть метров в секунду, это допустимо, хоть и предельно, только вот круговой, зараза... Ну ничего. Мы вас во-о-он над той сопкой выкинем. – он распротёр пятерню в сторону высокой сопки километрах в двух-трёх от аэродрома. – Здесь приземлишься.

– Где? – теперь настала моя очередь поглупеть.

– Здесь. – Олег топнул ногой.

Ещё не веря в сказанное, я перевёл взгляд с него на лётчика.

– Ага. – подтвердил тот.

Внутри меня всё опустилось, душа сжалась в комок и стала бешено колотиться, словно мячик для пинг-понга, где-то под кадыком, готовая вот-вот вырваться наружу. А может, это было сердце. Мои знания человеческой анатомии и физиологии в этот момент просто не работали. Да и может ли быть у души анатомия? Или может?

Всё спуталось от страха в голове. Я стал противен сам себе. Придётся прыгнуть, чтобы заглушить это противное чувство. Тут я вспомнил про тетрадку и про обещанный инструктаж, и быстренько сообщил об этом Олегу, попутно, стараясь скрыть тревогу, выразил сомнение в безопасности затеи с прыжками.

Инструктор с лётчиком громко рассмеялись.

– Ничего тут опасного нет. Дэ-пятые – это вечная модель, безопаснее скафандра космонавта. Раскроется, как миленький. Запасной даже не понадобится.

– А как же тетрадка?!

Опять я услышал дружный смех в ответ.

– Так это всё по баловству, из пижонства. Со временем у нашего брата добавляется мастерства и притупляется чувство опасности. Вот и думает наш брат, что любые выкрутасы ему по плечу, начинает хулиганить в воздухе. Результат – в тетрадке. Но тебе это не грозит – у тебя класс совсем не тот.

Я облегчённо вздохнул. Инструктор с лётчиком снова дружно рассмеялись.

– Ну, инструктаж, так инструктаж. Пошли.

Мы втроём двинулись к одному из «Ан-2».

Подойдя к самолёту, вскарабкались в открытую дверь.

– Смотри. Всё очень просто. Сюда цепляем карабин, подходим к двери, правую ногу сюда, руки вот так, на груди, сильнее толкаемся в сторону и летим.

– И всё?!

– Всё. Услышишь хлопок над головой, значит всё в норме. Да ты это почувствуешь. Только ноги поджимай, когда приземляться будешь, и набок вались, а то физиономию повредишь о землю.

Я получил ещё несколько немудрёных рекомендаций и на этом инструктаж закончился. Уложились не в два дня, а в две минуты.

Инструктор с лётчиком ушли, а я остался «чтобы потренироваться». На самом деле мне нужно было психологически настроиться, привыкнуть к самолёту и к мысли о необходимости прыгать.

Подошёл к порогу, встал, как положено, и глянул вниз. До травы не было и метра, но я тут же представил, что лечу над проклятой сопкой и подо мной восемьсот метров. Ноги мои предательски задрожали...

Я так и не прыгнул. Всё обошлось без моего участия. Ветер не только не стих, но и нагнал густых облаков. Прыжки отменили.

Не пришлось мне бороться со своей трусостью. Да и девицам тоже повезло. Узнав, что прыжков не будет, они истерично и громко засмеялись, кинулись обниматься друг с другом, но из класса так до самого отъезда не вышли.

Уехали вечером на той же машине. Мои товарищи с инструктором остались на аэродроме. Взамен их мы с девицами получили в попутчики двух промасленных уставших механиков, которые всю дорогу молчали. Молчали и девицы, прижавшись друг к дружке и радуясь, что всё обошлось. Я тоже молчал и тоже тихо радовался.

Едва приехали к учебному центру, девицы шмыгнули в темноту дворов по-соседству, и больше я их никогда не видел. Машина с механиками поехала дальше, а я остался снова один, стоя на залитой светом уличных фонарей дороге.

«Ну что, парашютист, какие планы на вечер?»

Планы мои в последнее время не отличались разнообразием. Решив и в этот раз не устраивать никаких революций, я привычно побрёл в общежитие «чистить перья» и укладываться спать.

14

Через три или четыре дня я снова был на аэродроме. Без особых проблем мне удалось napроситься в машину, которая каждое утро отправлялась из учебного центра на аэродром.

Мои товарищи, которые копошились возле учебного самолётика, обрадовались, увидев меня.

– Что, всё-таки прыгнуть решил? – крикнул мне Вовчик издали. – Видишь, какая погода. Сейчас самое то.

Петрович кивнул в подтверждение и, как бы для убедительности, ткнул гаечным ключом в небо.

Я отозвал Вовчика в сторону. Мне было совсем не до прыжков. С той самой ночи, когда я вернулся с аэродрома, меня снова неотступно стал преследовать мой безмолвный кошмар. Каждую ночь. Такого со мной ещё

никогда не случалось. Я был не на шутку напуган и решил, что настало время снова бежать, надеясь, что этот шаг всё наконец-то изменит. Мне нужен был Серега Белов, за этим я приехал к Вовчику.

– Серёга, говоришь? – Вовчик почесал макушку. – Можно и Серёгу Белова найти, это не сложно. Случилось чего?

Вовчик пристально посмотрел на моё осунувшееся лицо.

– Да нет, просто мне пора обратно. Дела ждут.

– А-а, ну, дела, так дела. – рассудительно протянул Вовчик. – Надо, так полетишь. Найдём Серегу.

Я попросил его пристроить меня на время на аэродроме, так как боялся оставаться один, о чём я ему, конечно, не признался. Мне определили место в одном из спальных барачков.

Кошмарная пустота отступила. Я снова стал спать спокойно. Очень часто успокоение быстро делает ненужным и неважным то, что ещё совсем недавно казалось единственно возможным и правильным. Так происходило и со мной. Где-то на третью или четвёртую спокойную ночь я начал думать, что можно никуда не лететь, что и тут совсем неплохо: свежий воздух, красивая природа, вполне симпатичные люди вокруг, романтика неба...

Пришлось изрядно встряхнуться, чтобы снова прийти в себя. Для этого я старался, как можно меньше попадаться на глаза людей и держаться подальше от самолётов с их романтикой. Иногда я на целый день забуривался в тайгу, прихватив с собой побольше хлеба. Там я срывал с кустов невероятно вкусную продолговатую ягоду синего цвета, названия которой не знал, и ел её с хлебом, запивая холодной водой из таёжных речушек и ручейков. В этот момент я ощущал себя аборигеном тайги и почти искренне считал, что нахожусь в полном единении с природой.

Насытившись, я наслаждался бездельем, валяясь на какой-нибудь поляне и подставив лицо щедрым лучам солнца. Выползал я из тайги только к вечеру, ужинал в небольшой аэродромной столовой, а потом быстро заваливался спать.

Я провёл на аэродроме дней восемь или десять. Всё это время Вовчик, никуда не отлучаясь с аэродрома, искал Серегу. Я не знаю, как он это делал, но Серега нашёлся.

В одну из ночей мне снова приснилась деревня из моих снов, там я снова увидел молодую женщину в васильковом платке. Всё повторилось даже в мелких деталях. Для себя я с недавних пор твёрдо решил, что мистике самое место в моей жизни и что ничего случайного в ней не бывает и быть не может. Так что уж говорить о таком странном сновидении. Привидевшийся сон я быстро истолковал по-своему: настало время бежать.

С этой мыслью я и вышел из барака, когда навстречу мне попался сияющий от удовольствия Вовчик.

– Я же говорил, что всё будет путём, дружок! Сегодня вечером прыгай на вахтовку и дуй в город. Завтра в полдень Серёга заедет за тобой. Если вам по пути, то вечером – на крыло. А там сам смотри.

Сон сном, но от неожиданности я остановился и открыл рот.

– Не прозевай! – крикнул мне на ходу Вовчик, который уже нёсся дальше по своим делам.

Белов обрадовался мне при встрече, словно старому близкому другу. Широко улыбаясь, он облапил меня так, что я чуть не задохнулся. Он был всё на том же автомобиле, и водитель был тот же. Во внешности самого Серёги так же никаких особых изменений не произошло. Не чувствовал я никаких изменений и за собой, но Серёга, быстро закончив со своими изъявлениями радости, бросил на меня долгий изучающий взгляд, а потом произнёс:

– Однако ты дал, дружище.

– Чего дал? – не понял я его.

– Видок неважнецкий, осунулся. Сезон не задался?

– Да нет, всё нормально. Приболел немного. – соврал я.

– Ничего, поправишься. – заверил меня Серега, будто заправский медик.

– Ага. – согласился с ним я.

– Куда тебе лететь?

– А вам?

– Нам-то? Нам на Рязань. А тебе куда?

– И мне на Рязань.

– В самом деле? – Белов пристально посмотрел на меня.

– В самом деле. – со смирением ответил я, покорно глядя в его глаза.

– Ну тогда полетели. – он секунду поколебался, а потом махнул рукой.

Мы сели в машину и помчались по городу.

Самолёт и экипаж были всё те же. Процедура моего устройства на борт прошла ещё проще, чем в прошлый раз. Видимо, я здесь был уже немного своим.

Вылетели перед самыми сумерками. Я обратил внимание, что ровный мощный гул моторов действует успокаивающе. «Лишь бы не прыгать», – грустно пошутил я по себя, вспомнив свой так и не состоявшийся прыжок с парашютом. Устроившись в кресле поудобнее, я, в который раз за последнее время, предался размышлениям.

Шёл уже второй год с того дня, когда я, бросив всё, убежал из родного города. Я немного подзапутался в датах, так как время для такого бродяги, как я, имело весьма второстепенное значение, но всё же помнил, что тогда было начало июня. Если немножко поднапрячься, то можно было вспомнить и число, но я не стал напрягать свою память. Достаточно было знать, что сегодня тоже июнь, только его конец. Я мог бы обратиться к Сереге Белову и уточнить дату, но какое это могло иметь сейчас для меня практическое значение? Никакого. Достаточно было и этих условных ориентиров. Моя жизнь постепенно превращалась в одну большую условность – условное наличие имени, условные даты событий, даже причина моего бегства сейчас мне казалась условной.

От чего я бежал? От сытой рутины? От жизненной фальши? От мучавших меня ночами безмолвных кошмаров?.. Да бегают ли от этого?.. Условно, наверное, да. А вот по-настоящему...

Я попытался перенести свои мысли домой, к жене, представить, как она живёт, чем занимается, помнит ли обо мне... Мне вдруг стало страшно – отсутствие информации предательски и совсем ненужно подстёгивало воображение. Картины рисовались одна неприятнее другой, и я поскорее постарался переключиться мысленно на что-нибудь другое. Во всей условности времени для меня безусловным было только одно – чем дальше в прошлом оставались дни моего семейного благополучия, тем тяжелее мне было возвращаться туда мыслями. Чётко обозначившаяся и всё нарастающая временная реальность – безвестность – пугала.

На этом невесёлом моменте своих размышлений я и уснул...

Сделав где-то по маршруту промежуточную посадку на дозаправку, мы благополучно приземлились на заданном аэродроме. Стояла замечательная тёплая летняя ночь. Было, наверное, около двух часов. Я спрыгнул на плотно укатанный грунт аэродрома, с большим удовольствием потянулся, зевнул, прогоняя остатки сна, и стал с интересом оглядываться по сторонам. Совсем небольшой светящийся огнями аэродром жил своей жизнью, которая не затихала даже ночью. Очертания окрестностей не были ясными, но я находил, что здесь красиво. Воздух, совсем не такой, как в других местах, пьянил. Даже запах керосина на аэродроме не мог заглушить этого душноватого дыхания прелой, много лет назад опавшей листвы, трухлявого березняка, клеверного сена и чего-то ещё, совсем неразличимого.

Этот запах будоражил меня, заставлял трепетать весь мой организм. Я несколько раз вдохнул воздух полной грудью и пришёл от этого в неопишуемый восторг. Внутри всё бурлило, клокотало. Я был абсолютно счастлив этой минутой. Наверное, такие слова вызовут лишь недоумённое удивление многих. Что может быть приятного в запахе разлагающегося от старости леса, точнее, того, что когда-то было лесом? Наверное, ничего. Но вспомните, хорошенько покопайтесь в своей памяти и припомните, что иногда с вами случалось такое, когда лёгкое дуновение ветра или невидимый воздушный след, оставленный обогнавшим вас прохожим, вдруг доносили до вас запах, от которого вы останавливались как вкопанный, и начинали судорожно цепляться мыслью, каждой клеточкой организма за этот запах, мучительно напрягая свою память и пытаясь возродить к жизни что-то давно утраченное и совершенно позабытое, но такое, по-видимому, важное и близкое... от чего и остался только этот запах, как напоминание о том, что это всё-таки было.

Так случилось и со мной. Я совершенно не понимал причину своего восторга, но был безумно счастлив, что оказался здесь. Разве может человека что-то тревожить, когда вокруг так хорошо? Разве может быть где-нибудь лучше?.. Ах, эта Рязань!..

Меня вырвал из мечтаний голос Серёги Белова.

– Дружище... Костик... – неуверенно произнёс Серёга, с трудом припомнив однажды слышанное от меня имя, – мы сейчас на Рязань отваливаем. Ты с нами? Одно место в машине найдётся.

– Я потом, на автобусе. – не переставая мечтательно улыбаться и оглядываться по сторонам ответил я.

– Ну, как знаешь, – пожал плечами Серёга, который хотел, было, удивиться, но потом, видимо, вспомнил, что постигать логику моих слов и поступков – дело совсем бесполезное, и удивляться передумал.

На всякий случай, для верности, только уточнил, зашагав по бетонке и бросив через плечо не то мне, не то ветру:

– До Рязани без малого две сотни вёрст, мы бы довезли, у нас и место есть... ночь ведь на дворе...

– Как, две сотни? Как, Серёга? Разве это не Рязань?.. – удивлённо прокричал я в удаляющуюся Серёгину спину.

Серёга остановился, обернулся, будто устало.

– Сасово. До Рязани ещё пилить, и пилить. Таков уж наш удел – периферия... Едешь?

– Нет, остаюсь. – после короткого раздумья решил я, и махнул Серёге рукой.

Серёга опустил голову, будто окончательно убедился в каких-то самых худших предположениях насчёт меня, вяло повёл руку вверх, затем опустил её, повернулся и пошёл к выходу с аэродрома. Через пять-шесть шагов походка его стала стремительней, а шаги уверенней, ещё через несколько шагов он почти бежал, балансируя зажатым в руке пузатым портфелем. Спустя полминуты его фигура скрылась за углом диспетчерской. Я остался один.

Минут через пять, когда мне, наконец, надоело одиноко и, наверное, глупо стоять посреди аэродромного поля, я тоже пошёл к выходу и вскоре оказался с наружной стороны аэродрома.

Маленькая площадь перед ним была пуста. Только пара стареньких жигулёнков да не менее старый узик жались друг к другу у старого забора. Перед узиком неторопливо прохаживался, заложив руки за спину, крепко сбитый щекастый дядька лет пятидесяти пяти или чуть старше. Дядька имел средний рост, аккуратную щётчку усов и... больше я бы ничего в нём и не выделил. Вот только ещё розовый цвет дядькиных щёк, от которого лицо его казалось вполне добродушным. Голову дядьки покрывала выдавшая виды серая шерстяная кепка, на ногах ладно сидели начищенные кирзовые сапоги с подвёрнутыми голенищами. Брюки лоснящегося от постоянной носки хлопчатого костюма неопределимого тёмного цвета были заправлены в сапоги. Лацкан пиджака, надетого поверх клетчатой байковой рубахи, украшал блестящий синей эмалью «гробик» значка об окончании техникума.

– Ночь-то какая, а! – завидев меня, пропел издали звонким тенором дядька.

Я согласно кивнул и остановился в лёгкой растерянности, не зная, что делать дальше. Никаких признаков общественного транспорта, никаких признаков близости города, ничего, напоминавшего бы о самой обычной жизни, стоя на этой ночной площади, я не уловил. Только розовощёкий дядька и был олицетворением той самой жизни, которая била из него фонтаном.

Дядька подошёл ко мне, расставил свои крепкие ноги, запрокинул голову и уставился взглядом в яркое звёздное небо. Я понял это как приглашение и тоже уставился вверх. Такой жест не был одолжением с моей стороны – небо и в правду было красивым. К этому добавлялись пьянящий моё сознание запах, лёгкая эйфория от прибытия в новое незнакомое место и какая-то добрая сила, шедшая от дядьки.

В этот момент я осёкся, мечтательная улыбка мгновенно сошла с моего лица, я недоверчиво и украдкой посмотрел на дядьку и молча выругал себя: неужели я так быстро смог забыть свои железнодорожные радости, встречу с улыбочивым милиционером Андрюхой и всё, что было потом?

– Эх, паря, лучше нашего неба ничего и не бывает! – вышел из созерцательного оцепенения дядька. – Точно говорю, а?

– Не знаю. Наверное. – проявляя осторожность, пожал я плечами.

– То исть как это? – удивлённо уставился на меня дядька. – И где ж ты такие небеса видал? Много знаешь!

Дядька хотел скривить презрительно лицо, но тут его, видимо, осенило, он внимательно осмотрел меня сверху донизу, лицо его снова подобрело и он подмигнул мне.

– А ведь ты приезжий! Хоть и лётный по виду, а не наш... Тогда ладно. Тогда простительно. Приедем тут разобраться надо, сразу и не поймёт, конечно.

Он примирительно махнул рукой.

– Откель будешь?

Я неопределённо пожал плечами, а потом так же неопределённо ответил:

– Из Сибири, вроде.

– Как это, вроде? – поднял дядька брови удивлённо.

– Да не вроде, а точно из Сибири... – спохватился я. – Это я так ляпнул, для выпендрёжа.

– Вроде у Федота брага в чулане бродит, а место жительства всегда точность любит. – обиделся дядька. – Перед курями будешь выпендриваться, если петух разрешит.

Видимо, нрав у дядьки вправду был добродушный и он не мог долго пребывать в хмуром настроении.

– А я внука на каникулы встречаю. Сын у меня, Юрка, лётчик, в Оренбурге живёт. Так он каждое лето своего Игорька ко мне спроваживает попутным рейсом. Вот жду. Скоро сядут. А ты, поди, с байкальскими прилетел, что давеча на Рязань укатили?

Я кивнул.

– Что ж сам остался?

– Здесь понравилось. – улыбнувшись ответил я.

– И то правда, места у нас хорошие. – довольно заулыбался дядька. – Когда обратно? А то ведь, если что, погости у меня. Я директором в здешнем совхозе, километров тридцать отсюда будет. Места у нас тихие-е-е.

Голос директора пел.

– Решайся, паря! Воздух, тишина, парное молоко...

– Да я и не лечу обратно. – сказал я после небольшого раздумья.

– Что ж так? – спросил, не поняв, директор.

– Тут хочу остаться.

– Ну, это совсем неплохо. По лётной части, аэродромной или в преподаватели?

– Какие преподаватели? – не понял я.

– Как это, какие? – настал черёд директора не понимать сказанного. – Аэродром-то небось при училище состоит... – Хотя, для преподавателя ты жидковат будешь – обтрёпан больно и солидности не хватает.

Директор смерил меня взглядом, в котором было не то сочувствие, не то удовлетворение собственной наблюдательностью.

Мне совсем расхотелось играть в лётчика. До чёртиков надоело.

– Ни по какой части. Я сам вроде вашего внука – попутный пассажир. По земле ходим и о небе не помышляем...

Директор совхоза озабоченно поскрёб пятернёй затылок.

– Тогда давай ко мне в совхоз, раз ни по какой части. Мне работники ох как нужны. Каждый человек дорог.

– Что ж не спрашиваете про мою специальность? Вдруг не сгожусь в работники? Да и документов у меня нет при себе никаких.

– Специальность мне твоя ни к чему. Парень ты, я вижу, башковитый, в любом качестве сгодишься. А что до документов твоих... если бы я только по бумажкам работал, так давно бы совхоз свой по миру пустил. Тут башкой думать надо, а не в бумажки заглядывать. Не в роскоши живём.

Он сдвинул кепку на затылок и почесал лоб.

– Соглашайся! И не выпендривайся.

Довольный произнесённой только что фразой, директор засмеялся.

– А я и не выпендриваюсь. Раз так, то я согласен.

В небе послышался гул моторов приближающегося самолёта.

– Ну вот и порядок. Жди меня здесь, вон возле уазика жди, а я пойду внука встречу. Только никуда не уходи. Слышишь! Жди меня, паря! – кричал он, удаляясь.

15

Приехали мы за час до рассвета. Дорога оказалась долгой и тряской. Точнее будет сказать, дороги я так и не увидел. Все тридцать километров или больше того мы ехали по бездорожью, просёлками, которые то врезались в берёзовый лес, то начинали бежать мимо колосющихся полей, то вдруг, наткнувшись на какую-нибудь одинокую деревенскую изгородь, резко уходили в сторону, петляя затем меж окрестных холмов.

С рассветом Иван Никифорович, так звали моего нового знакомого, оставив меня и семилетнего внука на попечение жены, укатил по своим директорским делам. Уложив сморенного дорогой Игорька спать, хозяйка накрыла на стол и позвала меня пить чай. Звали её Мария Степановна. Была она

женщиной приветливой, покладистой, скорой в работе и аккуратной во всём. В общем, настоящая деревенская бабушка, какой я эту бабушку себе раньше и представлял.

За чаем с вареньем и блинами я узнал от Марии Степановны, что живут они вдвоём с мужем. Оба их сына, получив образование в местном авиационном училище, разлетелись кто куда, напоминая родителям о своём существовании лишь редкими письмами да детьми, отправляемыми в деревню на лето. В это лето Наташа, единственная дочь старшего сына Виктора, осталась по какой-то очень важной надобности в своей Перми, так что Игорёк будет до самой осени им единственной отрадой.

Накормив меня, Мария Степановна пошла управляться с хозяйством, а я вышел во двор и начал с интересом осматриваться. Деревня оказалась совхозным посёлком, застроенным типовыми трёх- и четырёхквартирными посеревшими от времени, дождя и снега брусовыми домами, каждый из которых был облеплен кучей разных хозяйственных построек и огорожен низкой изгородью из редкого штакетника. Кое-где виднелись совсем старые, почерневшие от времени одно- и двухэтажные бревенчатые дома. Посёлок был невелик, располагался на небольшом взгорке и был окружён со всех сторон полями и перелесками густого невысокого орешника. С одной стороны к посёлку примыкала небольшая ферма, чуть подальше, немного в стороне, виднелись механические мастерские, за которыми тонкой ниткой тянулась крохотная речушка. За ней от края до края виднелось огромное распаханное поле, которое уходило своими бороздами до самого верха большого пологого холма и терялось где-то за ним.

Здесь и в правду было тихо. И воздух был действительно хорош. Тут он был ещё богаче, чем на аэродроме – тут ему ничего не мешало быть тем самым пьянящим воздухом, который сводил меня с ума и вызывал бурю непонятных восторгов.

Я счастливо вздохнул.

Иван Никифорович приехал домой как раз к обеду. Шумно ввалившись в своё жилище, он расплылся в улыбке, увидев меня, потрепал за волосы игравшего с котом внука и плюхнулся на табурет.

– Значится, быть тебе... Кстати, как тебя зовут-то, паря? – спросил директор, удивляясь тому, что до сих пор не узнал моего имени.

В этот момент я подумал, что в моей жизни за последний год было уже достаточно самых разных нелепых мистификаций, от которых я порядком устал и которые не принесли желаемого обновления и облегчения. Захотелось снова быть самим собой, снова иметь возможность уважать себя и вызывать уважение у других людей. Я решил, что настала пора возвращаться к обычной нормальной жизни. Для этого потребуются изрядная доля правдивости перед самим собой и перед остальными людьми. Для начала не мешало бы вспомнить и сообщить другим своё настоящее имя.

– Меня зовут Саша. Александр. – не сказал, а с нажимом выпалил я и испытал от этого немалое облегчение.

– Ну и славно. Вот что, Сашок... Быть тебе при большой должности. Даже при двух.

Иван Никифорович хитровато улыбнулся.

– Будешь ты у меня заведовать детским садом.

От неожиданности я подавился хлебом и закашлялся.

– Вот-вот. Правду говорю. – засмеялся довольно Иван Никифорович.

– «Усатого няня» из себя делать я не позволю. Мы так не договаривались. На посмешище меня решили выставить? Развлечений в вашем совхозе мало, так решили дурачка на потеху привезти? Да вы знаете, кто я такой? Вы не знаете! Вы вообще ничего обо мне не знаете! Спасибо за гостеприимство и за угощение. Мне пора обратно. Кто меня отвезёт?

Я встал из-за стола. Мне хотелось пылать от праведного гнева, гореть справедливым негодованием, но я чувствовал, что негодованию моему не хватает подлинного чувства, что гнев мой порядком преувеличен. Иван Никифорович это почувствовал тоже и посмотрел на меня укоризненно.

Я сел за стол и сделал обиженное лицо.

– Ну, положим, мы с тобой ещё никак конкретно не договаривались. И кто ж ты у нас, Саня? Расскажи.

– Я юрист. И очень хороший юрист. Что, у вас в совхозе юристы не нужны? Гладко всё?

– Юрист – это хорошо. Только по юридической части у меня и главный агроном неплохо справляется, в арбитраж дорогу носом нарыл. Да и что брать с хозяйства, давно и прочно засевшего на последнем месте в районе. Могу даже цифру уточнить – четырнадцатое. Раньше-то позади нас ещё водились «отстающие», да только время не стоит на месте – вот и сгнули они все, разорились, одним словом. Ну а мне отступать дальше некуда и в разорение пускаться никак нельзя – за мной не далёкая Москва, а свои люди вполне реальные стоят. Такая-то вот арифметика.

Иван Никифорович серьёзно посмотрел на меня, потом продолжил.

– Вот акционировали нас пару-тройку лет назад, бумажки красивые раздали. И что изменилось? Ничего. Кредитор сейчас шустрый пошёл – продукцию прямо с поля забирает. И всё по договору, по честности. Без этого ни технику не получишь, ни горючки. Никому твои исполнительные листы не нужны – одна морока от них.

Он отодвинул тарелку в сторону и потянулся за вареньем.

– Натуральным хозяйством живём, как в средневековье. В совхозной кассе давно мыши гнездо свили. Так что, какой мне с юриста прок? А вот если какой более ценный специалист – это да.

Мне стало обидно за профессию.

– Ну и какой же?

– А вот хоть доярка, хоть скотник, хоть комбайнёр. Ты, понятное дело, ни на того, ни на другого, ни на третьего не сгодишься, а вот в заведующие детским садом – в самый раз.

– Что ж своих ценных специалистов по горшкам не воспитали? – я окрасил слово «ценных» саркастическим оттенком.

– Своих-то? Воспитали, не переживай. Да только мне в поле и на ферме каждый человек дорог. Моя Степановна уже второй год как на пенсии, а всё трудится. Сегодня ей на вечернюю дойку идти. Думаешь, у меня люди в очереди стоят, да? На работу просят? Ага, держи карман шире! Так и норовят в город смотаться, к лёгкой и красивой жизни. Да их и понять можно, как не мечтать о городе, когда школу нашу начальную и магазин закрыли. Мне ещё детского сада лишиться, так совсем хана станет.

Он отпил чая из стакана.

– Ты не переживай – детишек у нас немного и зады им подтирать есть кому. Твоя задача будет поскромнее – по хозяйственной части, чтоб всё работало, как часы с кукушкой, чтоб ничего не ломалось и не сыпалось, а всё исправно функционировало. Понял?

– Вроде.

– Эх ты, вроде – во саду ли в огороде.

– Ладно, понял. Попробуем. – поправился я.

– Чего там пробовать. Вон и внучок бы мой справился, будь он постарше чуток.

Игорёк довольно заулыбался.

– А что вы насчёт двух должностей говорили, Иван Никифорович? – осторожно напомнил я директору.

– Совсем забыл, Сашок. Молодец, внимательно меня слушал.

Иван Никифорович хитро улыбнулся и хлопнул меня по плечу.

– У нас ведь так заведено – кто яслями заведует, тот и в клубе главный. Днём – сад, вечером – клуб. Понял? Мать, где у нас ключ от клуба? Неси сюда. И запомни, Саня: шелуху с пола вымел – клуб закрыл. Никак не раньше.

От неожиданности я открыл рот.

– Да-да, Саня. И переодеть бы тебя надо. Нечего народ казённым видом пугать. Ну ладно, подберём что-нибудь. Ты, главное, не куксись раньше времени. Жить пока будешь у меня, а потом определю тебя к кому-нибудь на постой. Присмотреться чуток надо, чтобы промашки какой не вышло.

Иван Никифорович испытывающе посмотрел мне в лицо.

– Кстати, что там у тебя с детьми и алиментами? Имеются какие грехи? Ты лучше сразу говори – документы документами, а дети детьми. Я в этом деле аккуратность люблю.

Вспомнив своё недавно возникшее желание снова вернуться к нормальной и понятной жизни, я честно выпалил:

– Женат. Детей нет.

Молчавшая до этого времени Мария Степановна, услышав, что я женат, не удержалась от вопроса.

– А где же твоя жена, Саша?

– Дома. В городе. Далеко. В общем, так надо было.

– Поссорились? – участливо спросила хозяйка. – Ну ничего, это бывает. Молоды ещё, горячи. Помириться, даст Бог.

– Мы не ссорились. Так вышло. Я сам виноват.

– Ну, вышло, так вышло. Чего ты лезешь, мать? Сам разберётся. – подвёл итог беседе хозяин и встал из-за стола.

Потекли дни моей жизни в этом посёлке, который, несмотря на все веяния и потрясения нового времени, видимо ещё по инерции продолжал жить в полусне советской патриархальности. Работа моя в детском саду особого упоминания не заслуживает. С ней, действительно, мог бы справиться любой. Садик был невелик: посещало его не больше двадцати детей всех возрастов. Были они собраны в одну группу, в которой за детьми присматривали пара пожилых нянечек, да пара таких же немолодых воспитательниц. Ещё была повариха – ворчливая, постоянно чем-то недовольная тётка. Впрочем, скверность её характера никак не сказывалась на качестве работы – готовила она отменно.

Вот, в общем, и всё. Остальная работа по детскому саду доставалась мне. Был я и заведующим, и дворником, и завхозом, и плотником. Справлялся я со всеми своими обязанностями, как умел, но всех, это, видимо, вполне устраивало.

Совсем иной оказалась другая моя работа. Точнее будет сказать, что и здесь работа не отличалась каким-либо разнообразием и сложностью, но сам клуб, которым мне пришлось заведовать, и всё, что происходило в нём, показались мне явлением диковинным и вызывали мой большой интерес.

Клуб открывался часов в семь. Обычно за мной забегал кто-нибудь из поселковой пацанвы. Остановившись в дверях, запыхавшийся пацан, стараясь быть солидным, при этом умилительно певуче акая-якая, извещал меня: «Завклуб, рабятки ждут. Айда клуб открывать». Иногда добавлялось что-нибудь вроде: «Пашка уж весь табак искурил, тябя дожидаячись». После этого пацан убегал, а я брал висевший на стене ключ и шёл открывать заведение.

Клуб представлял собой деревянное выкрашенное в казённый зелёный цвет сооружение с аккуратной огороженной перилами верандой, небольшим фойе, довольно вместительным залом и кучей подсобных помещений, о назначении которых уже давно никто не помнил. Запирался клуб на старый амбарный замок несложной системы, за долгие годы отполированный множеством рук почти до блеска.

Официальное наименование «дом культуры» никак не подходило этому заведению, в котором культуры было не больше, чем микробов в больничной операционной. Просторечный «клуб» куда больше отражал истинное назначение этого заведения. Здесь не ставили спектаклей, не давали концертов. Кружков и секций тоже не было. Лишь изредка наезжала районная кинопередвижка с каким-нибудь засмотренным до дыр фильмом. Тогда набивался полный зал. Смотрели фильм до конца, независимо от степени интереса к нему, никто не уходил раньше. С финальными титрами дружно вываливали из душного зала и шумно и весело комментировали давно знакомые всем кадры.

В остальные дни «культурная» программа была совсем незатейливой. В основном по вечерам в клубе собиралась молодёжь. В большинстве это были

парни. Девчат было заметно меньше – в клуб приходили в основном те из них, кто имел собственного кавалера, толкавшегося здесь же. С обладательницей пары могли прийти её подружки. На худой конец, девушке можно было прийти, если твой брат или дядя забивал здесь козла, шумно матерясь и сплёвывая на пол. Приходить девушке в клуб совсем без видимого повода считалось в посёлке делом неприличным.

Собравшись, включали в фойе старый магнитофон, который для большей громкости соединяли с одним из двух хриплых клубным динамиком. Парни и немногочисленные заходившие сюда (в основном холостые или разведённые) мужики играли в домино и шашки, лузгали семечки, сплёвывая шелуху на пол, в голос смеялись, рисуясь перед девчатами. Здесь же курили. Девчата тёрлись вокруг своих кавалеров, громко и довольно взвизгивая от их щипков и шлепков, в которых и заключалось почти всё незатейливое мужское ухаживание, или сидели на лавочке чуть в стороне, истребляя принесённые с собой запасы подсолнечника, болтая о своём девичьем и наблюдая за парнями. Со стен, с огромных писанных маслом портретов, облачённых в тяжёлые золочёные рамы, на всё это дело строго взирали классики марксизма-ленинизма. Менее строго остальных взирал Энгельс, поэтому я проникся к нему определённым уважением и даже симпатией, беседуя с ним иногда о своём житье-бытье и доверяя порой самое волнующее – то, чего никому другому доверить было нельзя. Я так и прозвал его про себя – «добряк Энгельс».

Танцев в клубе никогда не устраивали – молодёжи в посёлке было для этого маловато, да и аппаратуры подходящей тоже не было. На танцы по заранее известным дням, которые случались, как правило, в конце недели, отправлялись в соседние сёла, те, что были, видимо, побольше и побогаче. В такое время потребности во мне, точнее в ключе от клуба, не было совсем и «культурная» жизнь в посёлке ненадолго замирала.

Парни приходили в клуб, как правило, в лёгком подпитии. Сильно пьяных можно было встретить в посёлке где угодно. В клубе – никогда. Я не знаю, в чём тут была причина. Возможно, это было одно из неписанных правил здешнего поведения. Может быть, имелась и другая причина. Как бы там ни было, меня это обстоятельство очень устраивало.

Ко мне молодёжь относилась, как бы и вовсе не замечая моего присутствия. Парни делали это по началу демонстративно, готовые в любую минуту показать, кто здесь настоящий хозяин. Женская половина безропотно следовала установленным парнями правилам и, как умела, тоже игнорировала меня, хотя и без всякой демонстрации. Иногда я ловил на себе заинтересованные девичьи взгляды, которые те бросали украдкой. Но интереса в них было не больше, чем интереса к новой вещи, к которой ещё не успели привыкнуть. От моего бывшего городского лоска к той поре уже не осталось и следа; держался я, видимо, по их меркам не совсем естественно и излишне отстранённо, поэтому казался немного чужаковатым. Хотя, и в этом я абсолютно уверен, будь я тогда пообщительнее и продемонстрируй я

намерение с кем-нибудь подружиться или сблизиться, незамедлительно получил бы от здешних парней кулаком в зубы. Да, наверное, и не раз.

Со временем ко мне привыкли, успокоились и тогда по-настоящему потеряли интерес, вспоминая лишь при необходимости открыть клуб. Надо сказать, что очень скоро я смог свести и эти свои клубные обязанности к минимуму: поселковым пацанам совсем не было дела до половых инстинктов старших, и я легко нашёл с ними общий язык. Теперь у меня были свои доверенные лица, которым я смело мог доверить ключ от клуба, оставаясь до его закрытия дома или уходя по каким-либо делам. У Ивана Никифоровича такое обстоятельство никаких возражений не вызывало и я был этим очень доволен. Скорее же всего, я не привнёс в дело распоряжения ключом от клуба ничего нового.

Потекли дни странной жизни не менее странного сельского интеллигента, каким я стал себя в душе называть. Не знаю, много ли у меня для этого было оснований, но это всё же было лучше, чем быть вовсе никем...

16

Во второй половине августа, в один из жарких дней Иван Никифорович заехал ко мне в садик перед окончанием работы и, важно топорща усы, сообщил, что, как и обещал, определяет меня на постой.

Эта неожиданная новость удивила. Мне было совсем неплохо в доме директора, где у меня сложились замечательные отношения не только с ним, но и с его женой и внуком. К тому же, сам Иван Никифорович никогда в больше разговоре не возвращался к этой теме и я подумал, что тогда, в первый день нашего знакомства, об определении на постой было сказано так, ради красного словца.

Сказать по правде, новость меня обидела и, видимо, эта обида отчётливо вырисовалась на моём лице.

– Ладно кривиться, Сашка. – успокаивал меня директор. – По мне, так живи в моём доме хоть до пенсии. Только во всём должен быть свой резон. А резон нынче таков, что руки мужские правильного применения требуют.

Он снял фуражку с головы и утёр ею своё мокрое от пота лицо.

– Работник ты, Саня, хоть и не выдающийся... не кривись, я дело говорю. Так вот, Саня, работник ты хоть и не выдающийся и пользы от тебя в хозяйстве немного будет, а всё ж мужик.

Я гордо скрестил руки на груди – если я работник плохой, нечего держать было в своей дыре. Сам не просился.

– Так вот я и решил, – не обращая внимания на мой гордо-обиженный вид, продолжал Иван Никифорович. – к Лиде Степановой на жительство пойдёшь.

Я захлебнулся воздухом от негодования.

– Ты что, старый сводник! Так вот к чему были все эти разговоры о рабочих руках и дефиците кадров. Ну, Иван Никифорович, спасибо тебе по дружбе. Не забуду!

Иван Никифорович удивился не меньше моего.

– Чего подумал, дурак! Я ж тебя к девке семнадцатилетней с двумя пацанами отправляю. Тяжело ей одной без мужских рук, понимаешь? Доверить тебе решил, уверившись, что без скотства будет. В порядочность твою поверил... А ты!

Он огорчённо махнул рукой и сел на поваленное у самой изгороди садика дерево.

– Садись.

Я сел рядом. Жутко разболелась голова. Внутри возникло сильное чувство неловкости и досады на себя и на Ивана Никифоровича, да и на безвестную мне Лиду Степанову тоже.

– Слушай, Саня. Живёт она с двумя братьями меньшими. Двойняшки, в школу прошлой осенью пошли. Ни отца, ни матери у них нет. Батя, вишь, по глупости сгинул – в метель в поле замёрз. Пацаны тогда совсем малые были... Мать их, Зинаиду, года два, как схоронили. Горемычная ей доля досталась... Ну да ладно.

Он тяжело вздохнул, а затем решительно махнул рукой.

– Лида в этом году школу кончила. Ей бы учиться дальше идти – голова больно толковая, так братовьё на шее висит... и бабка ещё... В общем, дальше фермы её путь пока не пролёт. А ведь так и жизнь пройти сможет – оглянуться не успеешь.

– Что-то я не пойму до конца. Какие планы ты на меня строишь? Одно дело дрова поколоть, да воду там из колодца принести, и совсем другое – жизнь чужую устраивать. Не было у меня такого благородства в мыслях никогда. Я может быть, домой к себе собираюсь, к жене. Какое мне дело до девки вашей и до пацанов её с бабкой? Кстати, бабки в первоначальном варианте вашей трогательной истории не было.

На всякий случай, я немного преувеличил степень своего негодования, опасаясь того, что не замечу, как мне сядут на шею эти ушлые деревенские, которых я, живя здесь, как ни силился, так до конца и не понял.

– Ну вот и договорились, Саня! – обрадовался директор и решительно встал с бревна. – В субботу перебираешься. Надумаешь к жене ехать, что ж, едь на здоровье. Ну а пока пусть будет так.

Он подошёл к своему уазику, открыл дверцу и обернулся ко мне.

– Насчёт бабки не переживай, паря. То совсем другая история, тебя не касаемая. Ну, бывай пока.

В субботу с утра директор отвёз меня к Лиде Степановой и её братьям. Жили они на том краю посёлка, что был ближе к ферме и мастерским. О новом постояльце в семье Степановых уже было известно: услышав скрип тормозов уазика, два вихрастых пацанёнка одинакового возраста, но совершенно не похожих друг на друга лицом, с шумом и наперегонки выбежали на крыльцо и с интересом уставились на меня. Лида ждала нас внутри, на кухне. Я вошёл в квартиру вслед за Иваном Никифоровичем. При нашем появлении Лида встала с табурета и доброжелательно, но сдержанно поздоровалась.

Была она девушкой невысокого роста, ладно скроенной, с ослепительной белизны прямыми волосами до плеч. Весь её облик показался мне белёсым – такое ощущение шло и от выгоревших на солнце волос, и от бледной, усыпанной веснушками кожи Лидино лица, и особенно от больших бледно-голубых, до водянистости прозрачных глаз. Красавицей её назвать было нельзя, но миловидна и вполне хороша собой она была, несомненно. Помимо молодости и здоровья, исходивших от неё, Лиде очень шли и большие, искрящиеся, кажущиеся постоянно удивлёнными глаза, и курносый, чуть вздёрнутый нос, и запрятанная в уголках рта озорная улыбка, готовая в любую минуту появиться на девичьем лице.

Оправив руками подол старенького выцветшего платица, Лида оценивающе, как настоящая квартирная хозяйка, посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Ивана Никифоровича.

– Принимай, Лида, гостя. Прошу любить и жаловать, и не обижать нашего нового ответственного работника. Александр, стало быть, Саша. – отрекомендовал он меня по имени. – Э-э-э... отчество запомнил. Ну да ладно, разберётесь.

Лида кивнула мне и осталась стоять на месте. Впервые я оказался в подобной ситуации и совершенно не знал, как себя вести. От неловкости я начал тереть замок небольшой спортивной сумки, в которой умещалось всё нажитое здесь имущество, словно от его исправности сию минуту зависела моя жизнь и я желал убедиться, что ей ничего не угрожает.

– Ладно, Лида, показывай гостю хоромы, а я поехал. Дел сегодня, не проворотить за раз.

Иван Никифорович надел кепку, решительно развернулся и скорыми шагами вышел на улицу. Хлопнула дверца, будто жалуясь на старость и болезни натужно заворчал мотор, узик фыркнул на прощание и уехал.

Уловив моё смущение и спохватившись, девушка улыбнулась, всплеснула руками, будто досадуя на себя, и повела в комнату.

– Вот, здесь будете жить. – обвела она рукой просторное и чисто прибранное помещение. – Удобств у нас, конечно, не много, вы не обессудьте.

Она замолчала и встала у двери, чуть опустив голову.

– Нравится?

– Вы не переживайте, Лида, мне здесь очень нравится. – скороговоркой произнёс я, желая успокоить юную хозяйку, сам не зная почему, видимо желая продемонстрировать остатки былой интеллигентности, обратившись к деревенской девушке на «вы».

– Да чего уж там. Располагайтесь, пойду блянов напеку, а то исть небось хотите. – певуче протянула Лида, к моей немалой радости обнаружив деревенскую простоту и непосредственность.

В одно мгновение от моей нервозности не осталось и следа. Я улыбнулся вслед девушке и поставил сумку на пол.

Не успела сестра выйти из комнаты, тут как тут появились двойняшки.

– А меня Валерка зовут!

– А меня Андрейка!

Оба братца были белобрысыми, и оба – конопатыми, голубоглазыми, вихрастыми, только Валерка имел вытянутое худое лицо и прямой нос, а Андрейка, наоборот, был круглолицый, щекастый с вздёрнутым носом, больше брата похожий на сестру.

– Это ты – новый завклуб?

Я кивнул.

– Поня-а-тно. Кино хорошее привезёшь? А то «замороженный» до икачки надоел.

– Привезу, если не шутите.

– Не шутим, привези.

Мы быстро познакомились. Братья принялись рассказывать мне обо всём подряд. Спрашивали тоже обо всём, нисколько не стесняясь незнакомого человека. Вопросы братьев сыпались, как горох их мешка. Поначалу я думал, что спрашивают они от нечего делать, и отвечал выборочно, по собственному усмотрению, но когда оставшиеся без моего ответа вопросы прозвучали снова, понял, что ничего просто так у этих пацанят не бывает.

– Дядь Саня, а ты, правда, в большом городе жил?

– Правда.

– А морожено ел?

– Было дело.

– А это мамкин сундук, приданое ейное, которое от бабушки досталось... Прошлым летом к Марёке Капитоновой Юрка из Ярославля приезжал, так рассказывал, что в Москве бывал и Кремль видел, а в Кремле – царь-пушка стоит, только не стреляет, ядры кончились. А ты видел Кремль?.. И в Москве, значит, был?

– И в метро катался, да, дядь Сань? Я вырасту, тоже в Москву поеду. А у тётки Зины Ковалёвой тёлка Майка такая дурная, знаешь, как меня видит, сразу из стада бежит ко мне – играть. А рога-то – во какие уже! Ка-ак боднёт, поди! Страшно! Но я ничё, не боюсь. А Андрейка коров боится. Аж скулит со страха. Его, совсем маленького ишшо, совхозный бык Фёдор ка-ак поддел, озоруя. Вот страху было! Даже Зорьку нашу и ту Андрюха боится. Ты боишься коров, дядь Сань?.. Лидка тоже не боится.

Наговорившись, пацаны убежали на улицу рассказывать о квартиранте. Я огляделся. Комната была просторной и светлой. Стены из «живого» – некрашеного и небеленого хорошо подогнанного бруса создавали патриархальный уют, широкие толстые половицы мягко пружинили и не скрипели. У левой стены комнаты примостился большой кованый сундук, накрытый большим цветастым платком; над сундуком – ходики-кошка с цепями, гирьками, стрелками вместо усов и бегаящими вправо-влево отсчитывающими секунды глазами; у правой стены – старинная кровать с чугунными витыми спинками, высокой периной и горой подушек; над кроватью на стене – коврик с зимним лесным пейзажем; маленький столик у окна, у столика – стул; на окне – голубые ситцевые занавески... Вот и всё.

Такая простота подкупала. Накатило, нахлынуло внезапно откуда-то детское умиление. Остро захотелось жить, просто жить и радоваться солнцу,

небу, траве, воздуху, этой вот комнате, этим вот пацанам... Я счастливо потянулся и пошёл на запах счастья – «исть бляны».

...В сентябре братья пошли в школу. В октябре подули ветра и задождило. Ещё посуху и по теплу мы успели заготовить дрова для печи и сено для коровы на зиму. Точнее сказать, сено было заготовлено ещё до моего появления у Степановых. Мне же оставалось переметать стожки, чтоб сено лучше подсушилось, да свезти его потом на совхозной подводе, выделенной Иваном Никифоровичем, на сеновал. Ещё мы убирали с поля и сносили в подпол картошку, рвали в орешнике за картофельным полем фундук, собирали там же и сушили на нитках грибы, резали яблоки и раскладывали их на крыше сарая, чтобы получились сухофрукты.

Раз в неделю – воскресенье утром, Лида, оставляя братьев на моё попечение, уходила в другую деревню – «блюсти бабку» – так это называли Андрейка с Валеркой. Вспомнилось короткое упоминание о бабке директором Иваном Никифоровичем. Стало любопытно, что это за бабка и что за занятие такое, но расспрашивать об этом по городскому воспитанию и городской привычке не влезать в чужие дела без приглашения, я не решился, а Степановы в это дело меня не приглашали. Случай узнать про бабку выдался несколько позже.

Вечерами, если случалась свободная минута, я ходил с Валеркой или Лидой, а то и с обоими, забирать из стада корову и даже научился у пастушка Серёги щёлкать пастушьим кнутом. В довершение всему, как-то одним из вечеров Серега всего за пару минут прямо на моих глазах деловито и сноровисто вырезал из какой-то лозины дудочку и сыграл на ней незатейливую мелодию. Придя в восторг от увиденного, я выпросил у пастушка дудочку, которую он мне и так готов был отдать без малейшего сожаления. Нередко теперь вечерами я рассматривал дудочку, не переставая удивляться такому чуду, и без особого успеха упражнялся в игре. Это изрядно удивило братьев – стоящее ли занятие, уделять столько внимания сущей безделице, которую и сломать-то не жалко, а уж настругать таких можно, хоть засвистись.

Где-то на третьей неделе квартирования выяснилось, что не один Андрейка боится коров. Нет, я не стал панически бегать от них, но боязливым уважением проникся прочно. А дело было так. Однажды вечером, подталкиваемый желанием посмотреть, как этих самых коров доят, и, несмотря на настоятельные Лидины отговоры, я всё же пошёл за ней в хлев. Зорька, завидев меня, на своём коровьем языке зычно произнесла, что при чужаке молока не даст, а потом для верности мотнула в мою сторону головой и пару раз топнула, как припечатала, задней ногой, опрокинув подойник. С испуга я попятился назад, споткнулся о вилы и чуть не плюхнулся в грязь. Сразу пропало всякое желание изучать дальше процесс «получения» молока. Чертыхнувшись, я под весёлый Лидин смех и Зорькино недовольное сопение вышел наружу. С тех пор в хлев я ни под каким предлогом не заходил и при встрече с Зорькой делал вид, что её не знаю. Зорька, заметив меня, поступала так же.

Впрочем, это маленькое происшествие нисколько не испортило общей картины моего пребывания тут.

Впервые в жизни, в этом доме я почувствовал вкус и запах такого непонятого и одновременно притягательного деревенского быта. И если «хромовский» период жизни до сих пор воспринимался мной как постоянно обрывающийся странный сон, который привиделся в ненастную ночь, если дома у Ивана Никифоровича я был до определённой степени ограждён от каждодневных деревенских хлопот, то с поселением у Степановых вскоре и незаметно я стал чувствовать себя частью этого быта. Не знаю, играл ли я в деревенского жителя или взаправду пытался стать им а, может быть, разом было и то, и другое. Как бы там ни было, я совсем перестал скучать по городу и почти не вспоминал свой дом. Оказалось, что жить, плывя по волнам случайностей, не такая уж и сложная штука, в которой взамен одной надоевшей случайности, всегда можно было выбрать другую. В этой мысли было много приятного и успокаивающего.

17

Мы быстро сдружились. Я узнал, что Степановы жили в посёлке не так давно. Лет пять назад погиб, замёрзнув в поле в метель, их отец, тракторист соседнего колхоза. Двойняшки были тогда совсем маленькими и ничего этого теперь не помнили, зато при каждом случае охотно поддакивали сестре, которая и поведала мне о своей семье.

Житьё в колхозе, где они жили с родителями, было и без того нелёгким, а после смерти отца жизнь у матери с малыми детьми на руках совсем не заладилась – некогда богатый колхоз агонизировал – хоть работай, хоть сиди дома, денег не увидишь. Отец и погиб из-за этих денег: новому председателю, молодому да прыткому, загорелось спихнуть налево «излишки» заготовленного на зиму коровам силоса. У него это называлось рационально-динамичным ведением хозяйствования. Распорядился срочно везти «излишки» двумя тракторами в соседний район. На дворе стояла февральская метельная стужа, никто из вызванных в начальственный кабинет трактористов ехать не захотел. Тогда председатель выставил из сейфа на стол две поллитры и пообещал тому, кто решится ехать, выплатить долг по зарплате за два месяца.

Иван Степанов отважился – куда ж деваться, когда детвора жрать просит. Нашёлся и второй охотник – одинокий и немолодой вечно угрюмый тракторист Вавилкин. Как там было на самом деле, убитой горем Зинаиде толком никто так и не рассказал. Ни Иван, ни его напарник домой не возвратились. Когда метель стихла, их заглохшие трактора нашли в овраге в четырёх километрах от деревни, сильно в стороне от дороги. Говорили, Ивана так и нашли, припавшего телом к остывшему двигателю. Вавилкина отыскали чуть позже, занесённого снегом метрах в ста от оврага. Понимающие люди объясняли, что пытался он по санному следу вернуться обратно, да заблудился.

– Мужики рассказывали, так ничком и лежал. Упрямый был, молчун, Вавилкин-то. Многие из тамошних потом зубоскалили, что на радостях они как

будто с отцом напился в пути, от того, мол, и сгнули, спьяну заблудились. Так враньё это всё – трезвые они были. Водка так в тряпицы замотанная и лежала под сиденьями. Мне дядя Юра Клепиков про то сказал. Я ему верю. Те, кто зубоскалил, так те водку-то под шумок и стащили, чтоб самим потом выгородиться, да отца с Вавилкиным ославить почём зря.

Рассказывая всё это в один из тёплых субботних дней, когда мы собирали грибы в перелеске за картофельным полем, Лида без злости и обиды махнула рукой, как на что-то давно пережитое и теперь уже не своё, чужое.

– Отец вообще выпить любил... только на тракторе не пил. Никогда на тракторе не пил. Ему для этого обстановка была нужна. Чтоб всё спокойно было, красиво, без суеты и спешки, по-домашнему чтобы, со столом и закуской. А если хорошо ему сиделось, так и с песней. Жалостливые песни всё любил, протяжные, будто про судьбу свою печальную услышать хотел.

– Он, Лида, наверное, вас с мамой и братьями сильно любил.

– Уж и не знаю. Скупой на ласки был, неумелый. Стеснялся слово хорошее кому сказать. По неграмотности нашей деревенской, наверное. Но не обижал нас никогда, не буйствовал. Это точно. Гостинцы из города всегда привозил... Значит, наверное, любил...

Её лицо в эту минуту просветлело.

– Как отца похоронили, совсем трудно стало. Мама наша была из другой деревни, отец женился на ней, когда маме было уже двадцать пять. Это мужику можно до старости бобылём ходить и ничего, а наша женская доля такая – в положенный срок замуж не вышла, значит, даром никому не нужна. У вас в городе не так?

Лида пристально и совсем по-взрослому посмотрела мне в глаза.

Я смутился, пожал плечами, и, отводя глаза, ответил:

– Да всякое бывает. В городе тоже дураков хватает. Но ты не переживай, Лида...

– А я и не переживаю. – прервала она меня. – Может, дураки, а может, просто умные да злые.

Мы присели на маленьком взгорке отдохнуть и перекусить.

– Отца деревенские долго отговаривали, но он был упрямый, и всё равно женился на маме. А потом у них детей сколько лет не было. Я родилась, когда маме уже под тридцать было. Тоже повод был для них позубоскалить. Но отец всё терпел. Сам он об этом, понятное дело, никогда не говорил мне – мама потом, уже после смерти отца рассказала. Вот вы про любовь спрашивали, мне кажется, мама отца не любила, но очень была ему благодарна за всё, что он для неё сделал.

– А чего ж тогда замуж за него пошла, если не любила? – произнёс я и тут же выругал себя за дурацкий и, наверное, обидный вопрос.

– Так кому ж охота одному весь век оставаться. – не обиделась Лида. – Да и отец не плохим человеком был. За плохого бы не пошла, это уж точно – не такой у неё характер был... А ещё бабка Нюра наша сильно уж маму уговаривала выходить за отца. Отец, помню, не раз повторял: «у всех тётки как тётки, а у меня – человек с душой!».

– Жива бабка-то? – начал я издалека.

– Конечно, жива. – удивлённо посмотрела на меня Лида. – Будто не знаете, куда хожу каждое воскресенье.

– Да мало ли бабок каких. – чуть обиженно произнёс я. – Ты не рассказываешь, а я не спрашиваю.

– Ой, извините меня, дуру. – спохватилась Лида. – Откуда ж вам знать про бабу. И то, правда. А я тоже всё молчком да молчком – давно бы надо рассказать.

– Лида, я давно хочу тебя попросить.

– Просите, чего там.

– Ты меня не зови на «вы», ладно? Мне как-то не по себе от этого, смущаешь ты меня своим «выканием». Выходит, будто по службе, а не по дружбе общаемся. Вот у братьев пример бери – у тех всё просто со мной, без церемоний.

– Так вы же вон на сколько старше меня. – запротестовала Лида. – не по возрасту мне так. Да и учёный вы, городской. Боязно такому тыкать... А братья – малые ещё. Чего сами-то понимают?..

– По возрасту, по возрасту. И город нам в этом деле не помеха. Вот и договорились! Без церемоний. Ну так что там за история с бабушкой, продолжай. – больше нужного воодушевился я.

– Да какая там история. Из всей родни у нас одна бабушка Нюра и осталась. Слепая совсем, не видит ничего уж лет семь, поди. Только мутные пятна и различает: тёмное пятно – светлое пятно. Да и то при хорошем свете. Раньше-то нормально видела, а потом скоро стала зрение терять, пока совсем не потеряла. Мама уж по каким только врачам не ходила – всё без пользы. Да баб Нюра и сама не очень-то хотела лечиться. Это, говорит, наказание мне божье, и нечего от такого наказания прятаться за врачами, не поможет.

– За что наказание?

– Да нет никакого наказания. Было б чего, так рассказала бы, наверное. Выдумывает всё, чудит по старости. Блажит, лишь бы не ехать никуда из своей родной Нелюбововки. Мама наша ведь тоже родом оттуда была. Как за отца замуж вышла да переехала к нему, так и бабу с собой хотела забрать, а та – ни в какую. Заупрямилась, и всё ту. Слепнуть когда стала, так думали, согласится переехать – всё ж лучше старой да незрячей под присмотром, чем так, одной. Ещё больше упямиться стала. Как взял нас в свой совхоз Иван Никифорович после смерти отца, думали, тогда согласится, а как бы не так...

Закончив отдых, мы с Лидой снова отправились бродить в поисках грибов. Осень подходила к концу, листья почти облетели, лес опустел. Лишь редкие кучки грибов жались друг к дружке, прячась в опавшей листве, отчего наше занятие больше походило на неспешную прогулку без какой-либо определённой цели.

– Когда мамы не стало, так я точно была уверена, что баб Нюра к нам переберётся. Уж как я ей говорила, что тяжело мне одной между нею и братьями разрываться. Как уговаривала, упрашивала. А ещё ведь в школу ходить надо было.

– В общем, бабка твердо стоит на своём. – сумничал я.

– Стоит, чего уж. Я ей: «баб Нюра, чего тебе надобно то ещё от жизни, коль слепая да старая, да внуки сиротствуют, просят с ними ехать жить?», а она: «вот дождусь, придёт он ко мне, Лидушка, повинюсь ему, так и всё, так и помирать можно, и ехать никуда не нужно будет.» Я ей говорю: «да кто придёт-то, старая, кому ты нужна, кроме нас с братьями?», а она знай своё твердит: «придёт». Вот и говорю – совсем выжила из ума на старости, одна морока с ней.

– А лет ей много?

– Восемьдесят второй год идёт. Немало уже будет. Так и маюсь с ней. Так-то она сама справляется, хоть и слепая, ну и соседи где подмогут, если что. А я раз в неделю хожу продуктов принести, полы помыть, да постирать. А больше она и сама не позволяет ничего делать, ругается страшно, когда к плите лезу. Но я всё же не очень слушаю её – тоже настырная.

Лида улыбнулась, довольная собой и сказанным.

– А здесь как вы оказались?

– Да так и оказались. – бесхитростно продолжила она свой рассказ. – Отца схоронили – денег нет, жить не на что. Молодой председатель после того случая как в город «по срочным делам» уехал, так больше его никто и не видел. Ни его, ни денег. Ну, мама – в контору – как жить? А те – живите, как хотите, денег нет, касса пуста, всё. Мама тогда села в коридоре, и давай реветь. Тут Иван Никифорович её и увидел ревущую – он как прослышал про бегство председателя, так сразу насчёт долгов выяснять приехал. Ну, приехал, та сидит, ревет... Расспросил он маму, что да к чему, чего убивается. Та и пожалилась на судьбу свою. Реве не реви, говорит маме, деньги от этого не появятся, а вот если ты ко мне в совхоз переедешь и телятницей пойдёшь, жильё дам и зарплату исправно стану платить.

Лида замолчала.

– Ну и чего дальше? Рассказывай.

– А чего дальше рассказывать? Сдержал слово...

Окинув взглядом почти пустые лукошки, мы решили идти домой. Шли, глядя себе под ноги. Молчали. Потом Лида продолжила.

– Мама два года назад померла. Быстро. Сердце не выдержало. В воскресенье вечером это было... Жалко её, и не пожила совсем.

Лида вздохнула.

– Иван Никифорович помог с похоронами. И потом нас с ребятами не бросал. Жалостливый он... хоть и шумный с виду, но заботливый. Если бы он не забрал нас сюда, уж не знаю, как и жили бы – отец наш пришлый был, с Тамбова, у матери тоже родни, кроме бабы Нюры никого не было.

– Разве бывает так в деревне, чтоб совсем никого? – удивился я.

– Бывает... – снова вздохнула Лида.

...В ночь на двадцать пятое ноября, эту дату я запомнил отчётливо, повалил снег. Обильный и липкий, подгоняемый северным ветром, он принёс с собой печаль.

Проснулся оттого, что почувствовал приход зимы. За окном мело и кружило. Луна, прячась в облаках, зависла где-то высоко-высоко и равнодушно отбрасывала бледный свет на стену над моей кроватью.

Грудь сдавила необъяснимая, непонятно откуда нахлынувшая тоска, стало трудно дышать. Наскоро надев свитер и брюки, я впрыгнул в ботинки, подхватил с гвоздя в сенцах старенький полушубок и, стараясь никого не потревожить, вышел во двор. Ветер хлестал по лицу снегом, лохматил волосы, забирался в каждую щелку под одеждой, но это несколько меня не бодрило. Не хватало простора и ощущения бескрайней воли, которую почему-то так остро захотелось почувствовать в этот момент. Выйдя на улицу, я широко зашагал по ней навстречу ветру, подставляя снегу лицо.

Улица быстро закончилась. За ней была крохотная мелководная речушка, прихваченная льдом, а за речушкой – необъятное поле от края и до края, покоровшее меня своей необъятностью в первый день. За речушкой была воля, и я решительно двинулся к ней.

На просторе ветер был злее, пробирал до костей; снег налипал на лицо, стекал по нему, тая, и тут же налипал вновь, а я всё шагал и шагал вперёд. Уже порядком продрогнув, я не мог, не хотел останавливаться – мучительное желание «быть!», в котором в данный момент заключалось всё, что можно было бы вложить для меня в понятие о человеке – вершителе своей судьбы, упрямо гнало наперекор стихии.

Холод был всё отчётливее, а предательская мысль о необходимости возвращения – всё настойчивее звучала в голове. Я замедлил шаг, остановился и заплакал. Уже не разобрать было, слёзы ли, снег ли стекали по моему лицу. Бессильная злоба на себя и досада от понимания никчёмности, бестолковости собственного поведения и собственного существования вообще, приводили в отчаяние.

– Что ты здесь делаешь!? – полетело в пустоту подхваченное ветром. – Что ты вообще на этой Земле делаешь? Для этих ли жалких игрищ ты появился на свет?..

Диалога с самим собой не получилось. У меня не было ни сложного, ни простого ответа. Ветер же и снег хранили ко мне полное безразличие.

Замёрзший, обессиленный и поникший я приплёлся обратно, забрался под одеяло и весь остаток ночи продрог, пытаюсь вызвать приятные воспоминания из детства и тем самым обрести душевный покой. Раньше это всегда мне помогало. Сейчас воспоминания не принесли ничего. В моей жизни в очередной раз не было ничего, кроме кружащего снега за окном и пустоты...

Уснуть так и не получилось. Я поднялся, как только услышал, что Лида встала и осторожно, чтобы не шуметь, начала привычно тихо хлопотать по хозяйству. Душевное состояние было самым удручённым, во всём организме разлились слабость и усталость. Воспоминания о проведённой ночи вызывали чувство стыда за полуистеричную и глупую выходку. Утешало лишь то, что этой выходке не было свидетелей.

– Встал уже, Саша? – Лида заводила тесто на блины.

Я кивнул и сел на табурет у плиты.

– Приснилось что ль чего худого ночью? Или нездоровилось? На дворе то в такую погоду опасно ходить, застудиться запросто можно. А ты ведь без шапки, поди?.. Вон как с лица спал. Не захворал бы. – Лида с переживанием посмотрела на меня.

«Слышала, не спала», – ну вот и свидетели нашлись. Теперь одними личными угрызениями не отделаться.

– Сон плохой приснился. – соврал я, пользуясь предложенной невзначай подсказкой.

– Оно и понятно, по такой погоде хорошее разве приснится. Я и сама толком не спала. Вон сколько снега накружило, еле к хлеву пробилась. Только-только унялось.

– Ну вот и славно, пойду дорожки расчищу. – быстро поднялся я. Говорить в это утро совсем не хотелось.

Потом я кидал снег в детском саду, чистил дорожки у клуба, хватался за любую ручную работу, на которую был способен, делая это изо дня в день с каким-то животным исступлением...

Ощущение пустоты и ненужности не проходило.

18

Шестого или седьмого декабря я принял решение ехать.

– Куда? – удивлённо посмотрел на меня Иван Никифорович, когда перед обедом я зашёл к нему в кабинет и сообщил эту новость.

– Не знаю. Это не важно.

– Как это, неважно! Зима в разгаре. Да и всегда по-людски хотелось бы знать – дела какие или обстоятельства человека зовут, а может вдруг, обида? Скажи, обидел тебя кто, Саня, у нас? Уж какой день, гляжу, смурной ходишь. Да не один я это вижу. Бабы в саду вот переживают, да не знают как к тебе, чудному, подступиться. Ты не стесняйся, говори, поможем, не оставим. На то мы и люди, чтобы говорить и договариваться.

– Никто не обидел. Муторно мне, Иван Никифорович, понимаешь? Бегу всё, бегу. Раньше всё хотел узнать, от кого бегу, а теперь бы ещё понять – куда?

Директор сочувственно кивнул, хотя было видно, что почти ничего из моей высокой патетики не понял.

– Стыдно мне стало, Никифорович. Перед собой стыдно, перед людьми. Перед вами вот. Совсем запутался. Не знаю, кто я теперь, и чего от жизни хочу. Думал, у вас обживусь, огляжусь да пойму.

– Ну так оглядывайся на здоровье, обживайся, сколько твоей душе влезет.

– Огляделся уже, аж глаза заболели. – грустно сыронизировал я. – Вся моя жизнь – сплошной паразитизм. Одно только это и высмотрел. Скоморох я – понимаешь? Скоморох.

– Ну это ты завираешь, Саня. – искренне возмутился Иван Никифорович.

– Это я раньше всё врал, а сегодня не до того – на честность потянуло. – я грустно усмехнулся. – Гонит меня что-то по жизни, а что и куда... Запутался я, понимаешь? Растерял себя так, что одна тоска и осталась.

– Ну так вернись к жене. Вдвоём всё легче разобраться будет. Вы ж не чужие люди. К нам вдвоём приезжайте, если что. Вместе и потоскуете тут. Квартиру дам отдельную! Слышишь, Саня?

Он призывно улыбнулся.

– Вернись, как же!.. Да я ж говорю тебе, что стыдно! Перед всем миром стыдно, а уж перед ней, тем более. Ни в чём она не виновата. Это мои сложности и мне с ними разбираться самому. К тому же, кто сейчас скажет, чужой я для неё теперь, или нет...

Лицо Ивана Никифоровича стало серьёзным.

– Дело, конечно, твоё, только никак я не пойму – как ты решишь всё это, бесцельно по свету шатаючись. Ты, Саня, парень, конечно, взрослый, образованный, да только ребячливый какой-то. Уж извини за прямоту. Нашим бы деревенским твои заботы, так они бы только обрадовались – связали бы их, эти заботы, в один узел, да и закинули куда подальше, а потом зажили себе спокойно. Таково моё недалёкое мнение.

Я промолчал.

– ...Ну, как знаешь. Расчёт получишь завтра, а в четверг я поеду по делам в город и по пути отвезу тебя на станцию. Езжай, куда вздумается. Годится?

– Знаешь, Иван Никифорович, я кинематограф люблю.

– Люби себе на здоровье. Хорошее дело. – непонимающе посмотрел на меня директор.

– Так люблю, что в с первых минут могу почувствовать, хороший сняли фильм, или туфту в конфетную обёртку заворачивают. По одному только кадру, по одному лёгкому движению вижу.

– Ты к чему это, Саня?

– Да к тому, понимаешь, что не покидает меня ощущение, будто в какой-то нелепой кинешке меня снимают без моего согласия, а я всё пытаюсь сбежать со съёмочной площадки, выпасть из кадра, что ли. Понимаешь?

– Не очень.

– Не моё это кино!..

Я круто развернулся и быстро вышел из кабинета.

Вечером сразу после ужина я сказал о своём отъезде Лиде. Говорил как бы между прочим, стараясь придать интонациям голоса равнодушие и непринуждённость. Но чувствовал сам, что играю плохо. Не дожидаясь Лидиной реакции, я повернулся, чтобы выйти из кухни (младшие к тому времени уже с шумом и смехом играли в своей комнате). Правильно было бы сказать, я уходил от её реакции, так как догадывался, что не буду понят и ей.

Я не ошибся.

– Дело ваше, – Лида снова, как и в первые дни нашего общения, перешла на официально-нейтральное «вы», – едите, коль нужно. Только обман всё это...

– Какой обман, Лида? Правда, еду! Спроси у Ивана Никифоровича.

– Ехать-то, конечно, едете. Да ведь причины ехать, у вас особо нет никакой. Блажите всё. Придумываете себе чего-то...

Я опустил на табурет.

– Мы с братьями к вам вроде привыкли уже. За члена семьи считали. Вы не подумайте, что права какие предъявляем или чего ещё... Только, когда старший в доме есть, с которым просто так о житье-бытье нашем поговорить можно, пообсуждать там чего – так будто и мы не сироты. Тешили себя так, чтоб легче жилось. Понимаете? Валерка с Андрюшкой вон в школе перед ребятами вами хвастаются, что ни день. Думаете, из озорства?

Лида закончила мыть посуду и села у стола.

Мы долго молчали.

– Лида, помнишь, я тебе про жену рассказывал?

– Помню, рассказывали.

– Ну вот, предположим, я к жене решил вернуться, а ты меня отговариваешь. Хорошее ли это дело?

Мне было противно от неизвестно откуда появившегося поучительного тона, но я чувствовал, что этот гадкий тон – единственное, что я мог противопоставить очевидной правдивости Лидиных слов.

– Не решили.

– Откуда тебе это может быть известно?

– К жене не едут с печальным лицом.

Почти машинально я оглянулся в поисках зеркала.

– А куда с таким лицом едут? – собственная беспомощность в этом несложном споре злила, и я начинал тихо заводиться.

– На собственные похороны.

– Не понял. Поясни.

– А чего тут пояснять. С таким лицом вам любая станция сгодится, разницы не заметите. Так уж оставались бы...

Лида встала со стула и ушла к братьям.

Как и было условлено, Иван Никифорович заехал за мной рано утром, ещё затемно. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить братьев, я подхватил свою сумку, неуклюже и быстро обнял Лиду и направился к двери. Когда рука уже коснулась старого дермати́на, за спиной раздался детский голос:

– Надумаешь, возвращайся. Мы боле на квартиру никого брать не будем. Так решили с братом.

Я обернулся. Валерка и Андрейка, босые и вихрастые, стояли в дверном проёме своей комнаты.

– Я буду помнить. Спасибо, пацаны. – ответил я и вышел, махнув на прощание рукой.

Первые километры ехали молча. Лишь Иван Никифорович кивнув на заднее сиденье произнёс:

– Старуха моя пирожков с картошкой тебе напекла. Возьми, не забудь.

– Возьму. Спасибо.

Нарушил молчание директор.

– Чего не весел, Саня? Уезжаешь ведь, как и хотел. В своё, значит, кино мчишься.

Он едва заметно усмехнулся.

– В своё, точно. Успею повеселиться. Моё ведь кино.

Я пытался иронизировать. Выходило зло и неуклюже.

– Ну-ну, успевай, Саня. – снова усмехнулся Иван Никифорович.

За поворотом на пригорке в отдалении от дороги показалась деревня.

– Заедем сюда на пару минут. Дело есть. Круг даём совсем небольшой, версты четыре, не больше. Да ведь и тебе торопиться некуда.

Я равнодушно пожал плечами. Машина свернула влево, к деревне, оставив дорогу на станцию в стороне.

Солнце уже взошло. Погода установилась солнечная. Ровный неглубокий снег искрился и поражал своей белизной.

– Каков декабрь, а! – радовался директор.

Уазик резво вкатил на пригорок и побежал по пустой широкой улице мимо посеревших от времени изб и избёнок.

С равнодушием уезжающего туриста, утомившегося от обилия экзотики, я смотрел в окно. Вдруг, что-то тихо толкнуло в груди. На мгновение закружилась голова.

– Стой!

Уазик противно закрипел тормозами и остановился посреди улицы.

– Ты чего, Саня? Забыл чего в посёлке?

Я не ответил, продолжая смотреть перед собой, на улицу.

– Саня, ты здоров?

– Здоров... Скажи, Иван Никифорович, у тебя бывало такое, что ты в каком-то месте впервые, а не можешь отделаться от ощущения, будто знакомо оно тебе, будто видел ты его уже раньше.

– Ну, не знаю. Я вот Красную площадь никогда не видел раньше, а как после армии домой возвращался, так заехал посмотреть. Ну и чувство было такое, будто сто раз до этого видел. Но то всё, наверное, картинки из книжек виноваты. Уж очень похоже печатают. А так... не знаю. Ты к чему вообще спрашиваешь?

– Вот незнакомая улица. – я смотрел перед собой. – Если сейчас на повороте поехать влево, то справа, метров через пятьдесят почта будет. Маленькое одноэтажное здание, обшитое доской, а с фасада посередине – вход с низким крыльцом и перилами. А рядом будет тополь, такой огромный, что своей кроной всё здание закрывает. А если ещё дальше проехать, до спуска к реке, то слева магазин окажется, на склад похожий, а в магазине – запах.

– Какой запах, Саня? – директор удивлённо и чуточку настороженно смотрел на меня.

– Запах ржаного хлеба, упаковочной бумаги и железной утвари... а ещё, дёгтя.

– Ну ты даёшь, фокусник! – рассмеялся Иван Никифорович. – Да у нас в любой деревне любой магазин пахнет ржаным хлебом, железом и дёгтем. Тоже мне, предсказатель.

Потом лицо его стало задумчивым.

– А насчёт почты ты прав, только закрыли её давно, совсем обветшала стоит. И тополь там, кажись, есть... Точно есть. Огромный!.. Да мы сейчас и увидим его.

– А магазин?

– Что, магазин? Стоит твой магазин там, где и сказал, только он тоже давно на замке. Умирает потихоньку Нелюбовка.

– Нелюбовка?

– Нелюбовка. Тут бабка Степановская живёт. Слышал, наверное. К ней и едем, картошки завезти. А ты про речку откуда узнал, Саня?

– Поехали, заводи.

– Ну поехали, так поехали. Чудак ты, парень!

Свернув влево, мы проехали мимо пришедшего в запустение домика с давно облупившейся вывеской «Отделение связи», полюбовались на тополь-великан и вскоре свернули к одному из дворов.

– Речка там. И магазин тоже.

Иван Никифорович мотнул головой, указывая на другой конец улицы, до которого мы так и не доехали. Уазик жалобно взвизгнул и остановился.

– Назаровна, встречай!

Взвалив на плечо мешок, директор пошёл к старенькой подслеповатой избе. Мне стало любопытно, и я двинулся за ним следом.

В жарко натопленной избе было совсем мало света. Слабые лучи его едва пробивались через три узеньких тусклых оконца с фасада. Остальные окна были наглухо закрыты ставнями. Приветливо потрескивала печь. В дальнем углу избы на высокой кровати, устланной перинами, я заметил какое-то шевеление, а затем оттуда раздался скрипучий старушечий голос.

– Ванятка Дроздов, ты, что ли?

– Я, Анна Назаровна. Картошки вот тебе от внучки привёз. У двери поставил, где всегда. А ты не захворала ли?

– Здорова по многости лет, здорова. Сны вот только безрадостные стали приходить.

– Что же такое?

Иван Никифорович спрашивал со вниманием в голосе и в лице и мне показалось, что его внимание было искренним.

– Раньше-то всё в цвете сны приходили, а счас – чернота одна, будь она неладна. Снега вот довольно ли насыпало? Чую, что довольно.

– Довольно, чего уж там. Хорошо поля укрыло.

– Белый?

– А какой ещё? Как сахар!

Понемногу глаза привыкли к плохому освещению, и я смог разглядеть на кровати среди перин, одеял и подушек включенную старушечью голову с длинными седыми прядями и заострённым носом на вытянутом морщинистом лице. Только глаз по-прежнему не было видно. Вместо них – какие-то белые пятна.

– А у меня во сне, вишь, и снег чёрен как сажа стал. О-хо-хо, мои печали.

– Наладится, Назаровна. – стал успокаивать бабу Иван Никифорович.

– Не наладится, не уговаривай.

Пытаясь разглядеть лицо бабки получше, я сделал пару осторожных шагов вперёд.

– А ведь ты не один, Ваня. – старуха подняла голову с подушек и повела высоко носом, будто собака на охоте.

Теперь я смог разглядеть её глаза. Они были такими же прозрачными, как у Лиды, только время и болезнь сделали своё дело – в них совсем не было жизни. Ни искринки, ни лучика. Чистая и прозрачная пустота.

– Точно, не один, Назаровна. Парня вот на станцию везу. Квартировал тут у ваших.

– Парня? На станцию ли? – нос старухи ещё больше заострился и вся она замерла.

– Точно. Куда ж ещё в такую пору?

– Как звать парня?

– Александром. – доложил директор.

– А не врёшь, Иван?

– С чего мне врать-то на старости? – обиделся Иван Никифорович.

– Не Василием ли зовут, говори?

– Да какой же он Василий? – усмехнулся директор. – Самый настоящий Александр.

– Не встревай! Пусть сам скажет. Говори, милоч, не Василием ли зовут?

Поведение старухи меня смутило и породило внутри неясную едва ощутимую тревогу. Захотелось поскорее на улицу.

– Александр я. Точно вам Иван Никифорович говорит, бабушка.

Лицо старухи как-то сразу опало, голова вжалась в плечи и мелко по-старушечьи затряслась-задрожала.

– Одним бы глазком глянуть. Ну, хоть краешком. Сразу бы признала. Ох, печали мои, печали...

– Да ты что это причитать вздумала, старая? Ещё поживёшь! – утешал Иван Никифорович.

– Много знаешь, Ванятка! Отжила я давно своё. Пора мне с этого света, да только вот он всё не идёт.

– Кто?

– Вася, внучок мой.

– Ты что, Назаровна. Отродясь у тебя никакого Василия во внуках не ходило. И охота тебе выдумывать. Соскучилась, так я Андрейку с Валеркой в воскресенье к тебе привезу, милуйся на здоровье.

Старуха продолжала, будто не слыша Ивана Никифоровича.

– Какой день уж снится, будто приходит ко мне Вася, внук, и говорит: «вижу, баба Нюра, изводишь ты себя, терзаема виной своей, потому и пришёл – простить тебя, чтоб отошла ты с миром и успокоилась».

Иван Никифорович пристально и озабоченно посмотрел на бабу Нюру.

– А теперь вот одна чернота кругом – перед глазами черно, в снах черно. Боязно так, Ванятка. Уснуть страшусь – привидится сон, а там всё черно: и снег, и небо... Васятка приходит – Васяткино лицо тоже черно. Не разглядеть....

Старуха тяжело вздохнула.

– Знаю, он ко мне придёт. Только сил уж не осталось ждать. Скорей бы...

– Я к тебе, Назаровна, завтра фельдшера пришлю, пусть посмотрит. Бывай.

Иван Никифорович решительно надел шапку на голову и пошёл к выходу, я – следом за ним.

– Не надо фершала, Ванятка! Не надо фершала! Пусть придёт Васька, слышишь! Пусть придёт Васька! – орала старуха нам вслед.

До самой машины слышал я голос старухи, как молитву твердивший одно и то же.

– Совсем плоха стала. – расстроено произнёс Иван Никифорович, заводя уазик.

Медленно машина покатила обратно. Мимо почты, мимо тополя, мимо...

Всё мимо.

Выехали на дорогу к станции. Чем дальше ехали, тем большее необъяснимое самому беспокойство охватывало меня. Вскоре беспокойство переросло в тихую панику. Сознание не подсказывало ничего, но душа настойчиво требовала, и я решился.

– Никифорыч! – ни до, ни после я не позволял себе такой фамильярности с директором.

– Чего, Сашок? Снова что, может, вспомнил? Так тут поле, не за что памятью зацепиться.

– Много ли в городе дел у тебя?

– Провожающих просят выйти, а отъезжающих – не мешать выходить провожающим. – Иван Никифорович улыбнулся, довольный своей шуткой. – Об этом ли твоей голове болеть, Саша?

– Об этом, Иван Никифорович... Я остаюсь.

К середине декабря установилась постоянная погода – с хорошим морозцем и ярким солнцем на безоблачном небе, почти без ветра. Ровный пушистый снег искрился на солнце и радовал, заставляя забыть о зимнем холоде.

Забылась и моя недавняя тревога – всего лишь одна из многих. Жизнь окрасилась в оттенки утомлённо-спокойного безразличия, которое случается только тогда, когда внутри человека прочно поселяется ощущение близкой развязки чего-то долгого и утомительного, к чему совсем угас былой интерес. Былые сомнения и терзания, все мои мучительные поиски казались теперь

глупой никому не нужной беготнёй, лишённой всякого смысла. Прошлая городская жизнь не имела плюсов перед нынешней, в нынешней жизни не отыскалось бы ни одного минуса по отношению к прошлой. В моей жизни не было красоты, без которой всё перемешалось, спуталось, потускнело, остыло.

Лишь одна мысль нарушала моё безразличие ко всему – к страдающей старухе должен прийти злосчастный Васька.

Поселковый фельдшер, посланный Иваном Никифоровичем к бабе Нюре, вернулся ни с чем. Та прогнала его с порога, сердито наказав передать «Ванятке Дроздову»:

– Пусть пользы ради коров от недодоя лечит!

Новая причуда бабки заметно обеспокоила Лиду. Вернувшись домой в ближайшее воскресенье, она устало села на табурет в углу кухни, положила руки на колени и тихо с растерянностью в голосе и лице произнесла:

– Совсем плохо. Ваську ей теперь подавай, внука. Через него, вишь, ей «скупление» будет. Дожила до помутнения старая. Откуда ж ему взяться-то?.. Бяда-а.

Когда на календаре один за другим замелькали двадцатые числа, повсюду стал ощущаться близкий приход Нового года. Вспомнив о своих прямых «профессиональных» обязанностях, я быстро и довольно сносно организовал новогодний утренник в детском саду и решил замахнуться на клубное мероприятие для взрослых. Эта задача выглядела более трудной, но я не хотел отступать, уверенный, что дело лишь за хорошим сценарием. Обыскав все уголки совхозного клуба и порядком испачкавшись в пыли, я нашёл лишь пожелтевшую от времени довольно увесистую книжицу, она называлась «В помощь директору сельского клуба», год издания – 1958-й. Листы полезной книги хранили девственность, не зная до этого дня прикосновения человеческой руки.

В радостном волнении я начал листать книжку страницу за страницей, но очень быстро радость покинула меня – книжка оказалась скучной и ни на что не годной, богато пропитанной духом своего времени.

Не теряя надежды, я двинулся к руководству за помощью.

– Вези, Иван Никифорович, из города какой-нибудь сценарий. Новый год в посёлке будем делать.

– Это как? – усмехнулось в усы руководство.

– Очень просто! – горячился я. – Костюмы соорудим, ёлку в клубе поставим, песни разучим, сценки разыграем, представление, одним словом, устроим!

– С кем представлять-то будешь?

– Как с кем? – недоумевал я. – Девчат соберём, парней поэнергичнее да поголосистее... Сурикова вот с гармошкой можно, да братьев Половинкиных, а там и другие найдутся, мало ли людей в посёлке?

– Это точно, людей пока хватает. А вот насчёт сценических талантов, это ты хватил, Саня. Ежели и есть среди наших деревенских какой талант, так ты его в жизни на сцену не затащишь скоморошничать. За такое предложение и

поколотить могут... вот те же братья Половинкины и поколотят. Ты ж не путай – одно дело на лавке с девками таланты демонстрировать, и совсем другое – со сцены кривляться.

– Да разве ж это кривляние?! – негодовал я. – Это же культурный отдых! Праздничный досуг! Коллективное мероприятие всегда сближает.

– Ого, слов каких набросал! Востёр. Это ты думаешь, что не кривляние, другие так думать не станут. Не было у нас отродясь такого и, думаю, не будет. Не поймёт народ.

Я настаивал.

– Ну, Саня, раз ты у нас упрямый такой, так и быть, – подытожил директор, – нынче вечером соберём в клубе, кого скажешь, а там сам увидишь, что там да к чему. Бывай пока до вечера. А мне в мастерские пора ехать.

Вечером в клубе собрались его завсегдатаи, да пришло ещё несколько человек из названных мной директору. Пришёл и сам Иван Никифорович, для порядка.

Расселись в зале. Мы с директором забрались на сцену, на которой я произнёс пламенную речь и обозначил горизонты ближайшего культурного будущего посёлка, а затем призвал собравшихся активно влиться в формируемое культурное пространство.

После недолгого и лёгкого замешательства девки, хихикая от смущения и интереса к озвученной затее, согласились. Реакция парней была обратной – картинно плюя себе под ноги, зло шикая на девок и смачно ругаясь, они по одному соскакивали со своих мест и чётко впечатывая слова в пространство зала, говорили всё, что думают о затеянном мной «утреннике», о Деде Морозе «с яво Снядурочкой» и обо мне лично.

Получилось зло, но не обидно. Признав своё поражение, я спустился вниз и пошёл глядеть на ночные звёзды. Иван Никифорович вышел за мной следом. Желая подбодрить, он хлопнул меня по плечу.

– Я ж говорил тебе, Саня, не поймут. Да ты не кисни особо, им и так сгодится, без представлений твоих.

– Ну хоть кино хорошее можно?

– Это можно. – оживился директор. – Это организуем. Завтра в город поедем. Со мной поедешь – ты в этих делах человек знающий, сам и выберешь. А я помогу, если что, надавлю на кого надо, не сомневайся.

– Ну вот и замечательно. – устало вздохнул я.

Наутро выехали рано и к девяти часам уже были в городе. Решив свои неотложные дела, Иван Никифорович подрулил к неказистому зданию, в котором размещался отдел культуры. Толкнув нужную дверь, он вошёл в небольшой кабинет, предварительно пропустив меня вперёд.

В кабинетике, заставленном вдоль стен шкафами и стеллажами с кучей каких-то бумаг, помещались лишь вешалка, пара стульев для посетителей да древний двутухмбовый стол у окна. За этим столом восседала сухая женщина неопределённого, но, как мне подумалось, весьма большого возраста. Поправив массивные очки на носу, она взглянула на вошедших и тут же отрезала:

– Для вашего совхоза в этом месяце кинопередвижки нет. У меня уже план закрыт и отчёты сданы. Приезжайте после десятого.

– А у меня не план, дорогая Жанна Васильевна, у меня люди без культуры пропадают. Пойми ты это, люди! Давно ли у нас кинопередвижка была, знаешь?

Жанна Васильевна не отвечала и внимательно смотрела на Ивана Никифоровича из-под очков.

– Не знаешь, так загляни в свой план – в середине ноября это было, шестнадцатого числа опять «Замороженного» привозили. Как родной он уже нам. Думаем, не усыновить ли?

– Что вы предлагаете? – произнесла, наконец, хозяйка кабинета.

– Вот это другой разговор. Вот за что я люблю Жанну Васильевну! – оживился Иван Никифорович, почуяв, что дело идёт к нему в руки. – В общем дело такое, Жанна Васильевна, Новый год на носу, а праздника в посёлке нету. Но ведь так хочется, чтобы был! Ты же меня понимаешь как работник культуры.

Жанна Васильевна никак не отреагировала на комплимент, продолжая внимательно слушать.

– Ну так вот. – кашлянув продолжил Иван Никифорович. – Со мной тут человек, – кивнул в мою сторону, – образованный, городской, разбирается в кино и всё такое... в общем, покажи ему, что у тебя есть, а он пусть выберет сам на собственное усмотрение. Ну и передвижку нам дашь само собой. Сегодня какое число? Двадцать четвёртое, кажись, спросонья было? Вот и отлично, завтра к обеду обещаем вернуть тебе и аппаратуру, и фильм, и механика в придачу ко всему в целости и сохранности. И не жадничай, Жанна Васильевна, хорошее кино не зажимай. Мы хоть и деревня, а тоже без настоящего искусства загибаемся. В общем, доставай из своих закровов самое лучшее. Без этого не уедем. Точка.

Жанна Васильевна выдержала паузу, а потом, не меняя позы и внимательно-сосредоточенного выражения лица, ответила:

– Ну ладно, фильм, к примеру, хороший мы отыщем, не проблема. А вот где, скажи ты мне на милость Иван Никифорович, я тебе кинопередвижку возьму? Две всего на район и осталось. Так и те по плану на сегодня расписаны – одна к пичкиряевским едет, вторая в Трудолюбовку отряжена. И на завтра всё расписано, и на послезавтра. Думал, вру про план, сочиняю?

– Ничего я не думал... Только и это всё поправимо. Пичкиряевские, давеча, хвастались, повадился к ним какой-то чудик из Зубовой Поляны видики показывать (знать бы ещё, что это за штука такая). Одним словом, все у них тем чудиком с его видиками довольны и по той удивительной причине им твоя передвижка нужна, что корове дышло. Да и ехать к нам куда ближе будет, на горючке сэкономите. Всё польза будет. Решай, Жанна Васильевна, мой вопрос положительно.

Перед такими аргументами Жанна Васильевна не устояла, но заезжего «чудика с видиками» тут же внесла в свой блокнот, на всякий случай, для проверки и выяснения.

Получив от работницы культуры список с наличествующими в передвижном прокате фильмами, я не удержался и воскликнул от накатившего негодования:

– Да у вас тут целое собрание Госфильмофонда, а вы нас тремя де Фюнесами и одним Бельмондо до тошноты закормили!

Жанна Васильевна отреагировала на мои слова с холодной невозмутимостью.

– Зато целее будут – мало ли чего с ними в путешествиях случиться может. Выбирать будете или разговаривать, молодой человек?

Без особых раздумий я выбрал «Красотку». Оценив мой выбор, Жанна Васильевна задумчиво и впервые за время нашего общения с интересом посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Ивана Никифоровича и томно-театрально произнесла:

– Ах, молодость, молодость!

Затем быстро перешла на свой обычный сухой тон и добавила:

– Хороший выбор. Так тому и быть. Но чтобы завтра к обеду машина с механиком были здесь!

...Ни на следующий день, ни на другой кинопередвижка с киномехаником в город не вернулись. Обещанный мной в посёлке праздник всё-таки состоялся. Поселковые приняли «Красотку» с восторгом. Фильм пришёлся всем по вкусу. Женщины млели от созерцания роскошной жизни, мелькания дорогих нарядов и обходительного Ричарда Гира. Ну и случившаяся нежданно-негаданно большая любовь, разумеется, вышибала слезу в три ручья. Мужики, деловито и не спеша, обсуждали автомобили, походя учили незадачливого миллиардера, как нужно бабу в кулаке держать, чтобы «крылья не расправляла», а под самый занавес, искренне сокрушаясь, истово ревели на весь зал и советовали как родному, как правильно бить «курву юридическую».

– Дура-а! Кто ж так бьёт-от?! Куды ты яво костью да в кость! Ага, зашибил руку-то! Больно жа, поди-и!! Наотмашь надо было-о-о, с размаху кулачищем да в ухо отвесить! А ловчее всего, дрын какой цепляй, да в зубы яво, в зубы-ы! Пусть наутро к фершалу ковыляет за бюллетенем, гы-гы-гы! А та ему – накося дулю-у!! Пил вчера, поди, скажет. С бабой своей подралси-и, скажет, – вот и не выпишу ничаво! Ходи тяперь, сверкай скворешней, злыдня щербатая! Га-га-га-а-а!

Разумеется, ни на другой день, ни на следующий киношника с его техникой никто в город не отпустил. Одобрительно гудя и вознося профессию до небес, поселковые с раннего утра двадцать пятого щедро кормили и поили киномеханика, передавая его друг другу из рук в руки и ни на минуту не выпуская из вида, дабы не сбежал, а к вечеру, осоловевшего от выпитого и съеденного, специалиста в области важнейшего из искусств, как и положено, подводили к аппарату, стрекотания которого уже ждал битком набитый наэлектризованный предвкушением праздника зал. Бедный Иван Никифорович, понимая, что невольно нарушил данное собой Жанне Васильевне обещание, целый день названивал в город, рассказывая чиновнице небылицы про внезапно

приключившиеся с механиком нутряные корчи, и выслушивая в ответ её холодно-обличительные отповеди.

Двадцать шестого всё снова повторилось, двадцать седьмого Жанна Васильевна, позвонив, пригрозила директору прокурором, судом, кандалами и Сибирью, и тому клятвенно пришлось пообещать, что на следующее же утро больничный киношнику закроет.

Двадцать восьмого с утра кинопередвижка уехала. Клуб на пару дней опустел, а меня к вечеру охватила такая, пусть и приятная, усталость, от которой существует только одно избавление – сон. Едва придя домой и, отказавшись от ужина, я лёг в кровать и мгновенно уснул.

... Чем глубже сон, тем ярче бывают сновидения. Так было и со мной в этот раз. Я провалился в невероятный по отчётливости и красоте сон. Впрочем, этот сон я уже видел раньше. Не раз он приходил ко мне, повторяясь даже в мелочах. Но никогда раньше отчётливость этого сна не была осознанной и столь волнующей: я шёл по деревне, которую считал родной, и нисколько этому не удивлялся; я безоговорочно чувствовал своей эту деревню с её улицами, избами, пастбищами, огородами, людьми, приземистым деревянным зданием с вывеской «Отделение связи» над его крыльцом и огромным красавцем-тополем, накрывшим здание тенью своей огромной кроны. Когда я увидел женщину в васильковом платке, сердце моё радостно забило, затрепетало, огромная по силе волна нежности к этой женщине накатила, обрушилась на меня. Я не удивлялся своему счастью, оно было частью меня, такой же естественной, как естественны для человека пять пальцев на руке. Вот женщина поравнялась со мной, остановилась, вытерла ладонью пот со лба, улыбнулась мне и мелодичным, полным нежности голосом произнесла: «Васенька...»

... Я проснулся. Ходики показывали пять минут пятого – наступало утро двадцать девятого декабря – тридцать второго по счёту дня моего рождения. «Вот это подарок!» Я сидел на кровати посреди залитой предутренним сумраком комнаты и мучался тайной открывшейся вдруг догадки, которую ещё совсем недавно счёл бы за бред безумца.

Так я просидел до Лидино пробуждения. Как только из другой половины жилища послышался лёгкий шум, я тут же оделся и вышел из комнаты. Лида на кухне растапливала печь.

– Не спится? Или случилось чего?

Она внимательно, с готовностью проявить участие и чем-нибудь помочь посмотрела на меня.

Я хотел произнести приготовленные слова, но вместо этого выдал что-то судорожное и нечленораздельное. Досадуя на себя, я скривил лицо в подобии виноватой улыбки и после секундной паузы уже более отчётливо произнёс:

– Лида, покажи мне, пожалуйста, фотографию вашей мамы.

– Мамину карточку показать? Так чего ж спозаранку? Поспал бы ещё. Куда карточка денется?.. Ну ладно, сейчас принесу, коли очень занудилась.

Лида ушла в свою комнату и уже через несколько секунд вернулась, держа в руках фотографию.

– Родители-то карточки на стенку никогда не вешали – не принято у них было. Ну и мы мамин портрет не стали вешать, по привычке... Вот, достала из альбома. А что вдруг так на мамину карточку взглянуть захотелось? Сказал, что ли кто чего или просто так?

Я не ответил. Осторожно взяв из Лидиных рук фотографию, я держал её перед собой, боясь взглянуть. Я уже знал, что увижу там, но оттягивал момент, потому что совершенно не знал, что мне делать потом.

– Чего ж не смотришь? Глаза зажмурил чего? Думаешь, страшная? Не-е-ет, мама у нас красавица была и очень добрая.

Лидин голос вырвал меня из состояния нерешительности, и я открыл глаза. На меня смотрело знакомое улыбающееся лицо, только оно было заметно постарше и без платка на голове. На меня смотрела женщина из моего сна...

Часа через полтора я стоял перед домом бабы Ньюры. Мне не составило особого труда преодолеть по хорошо накатанной дороге пять километров, что отделяли совхозный посёлок от старухиной деревни. Я подошёл к деревенской околице, когда солнце лишь начинало собираться к восходу, выбрасывая вверх первые осторожные лучи, но и без этого я видел и понимал, что и эта деревня, и этот дом, который теперь стал заметно старше, не по прихоти воображения появлялись в моих снах.

Постучал в дверь. На стук никто не ответил и я вошёл. Старуха сидела у окна вполоборота к нему в дальней части аккуратно прибранной комнаты, которую медленно начинал заполнять свет восходившего солнца.

– А ведь я тебя тогда почти признала. – ровным и спокойным голосом произнесла она. – Ванька Дроздов всё спутал.

Я молчал.

– Ждала тебя нынче. Привиделось во сне, что придёшь.

Старуха повернула голову к солнечному свету.

– Значит, они тебя Сашкой называли...

– Кто?

– Городские.

– Какие городские? Мне вас трудно понимать.

– Не понял бы, не пришёл...

Я промолчал.

– Виновата я перед тобой, ох как виновата... И перед матерью твоей виновата. Но той уже не воротишь, чего там... – она махнула рукой, – каждый день за неё Богу молюсь...

Старуха повернула голову в мою сторону.

– ...а без твоего прощения помирать боязно. Вот ведь как вышло... Страшно перед Богом стоять. Расплаты за грех свой боюсь, вот и хочу повиниться перед тобой. Только простишь ли?..

Я сел на табурет у входа.

– Не знаю. Я пришёл услышать от вас правду...

Я чувствовал, что бабе Ньюре хотелось выговориться передо мной не меньше, чем мне узнать правду. Поэтому мне оставалось лишь терпеливо

ждать, дав старухе возможность собраться с мыслями. Она немного помолчала, как бы припоминая что-то, а потом неторопливо и негромко начала.

– Единственная у меня Зиночка была: Захар, супруг мой, с войны израненный вернулся, пяток годков с возвращения и пожил всего, а потом оставил на всём белом свете одну с дитём на руках... Тяжко было... только я не жалуясь, а к тому говорю, чтобы понял ты, как тряслась я над Зиночкой своей. Ох, как тряслась!

Баба Нюра оправила на коленях передник.

– Одна растила, думала к жизни хорошей пристроить, мужа стоящего найти... А тут Володька появился. Курсант, на лётчика учился. Красивый такой, цыганистый, высокий. Ты, должно быть, в него пошёл... На танцах они с Зинкой познакомились. Любовь... Володька неплохой был, хоть и ветреник, перед выпуском ко мне сватать Зинаиду приходил, говорил – увезу в свои южные степи и сделаю там счастливой... да только прогнала я его. Так и сказала: «нечего, голь перекатная, моей единственной дочери в твоей захудалой Бессарабии делать». Обругала вслед, и Зинку под замок посадила...

Старуха помолчала, о чём-то задумавшись.

– Володька уехал, Зинаида моя осталась... да не одна. Поначалу скрывала, да спрячешь ли живот от матери? Ругала я её, поколотила даже, избавиться от бремени заставляла... да только не смогла... Восемнадцатый годок ведь всего-то и шёл ей. Возненавидела я дитя будущее за то, что жизнь ей ломает. Возненавидела...

– Вы знаете, какой сегодня день? – прервал я старухин рассказ.

– Как не знать. Знаю. Аккурат тридцать два годка назад мать твоя Зинаида Захаровна и родила тебя вот в этой избе. Восемнадцать ей в ту пору уж исполнилось. По утру это было, в четыре часа. Красивым мальчонкой родился, в отца. Это помню... Только для кого красота, а для кого горе... Зинаида всё надыхаться на тебя не могла, уж так любила... А мне злоба глаза застила, видеть не могла, всё пеняла ей, упрекала, совестила... Да кабы по-людски совестила, а то всё обидными словами. Изводила я её себе на беду...

Баба Нюра сделала манящий жест рукой, подзывая к себе. Я подошёл. Усадив на кровать рядом с собой, она стала водить морщинистой рукой по моему лицу.

– Не умею так видеть, чтобы руками. – сокрушённо махнула она рукой.
– Во сне всё тебя вижу, как зряче... во сне ты красивый.

– А как же чернота, баба Нюра? – не удержался я от ехидного вопроса, припоминая нашу недавнюю встречу.

– Ушла чернота, милоч. Сёдни и ушла. Как увидела тебя во сне ясно, так и догадалась, что придёшь. Знак это был мне.

– А по какому знаку вы внука лишились, не скажете? – с лёгкой издёвкой спросил я старуху, избегая параллелей между собой и человеком из бабкиной истории и будто цепляясь за возможность уличить её в обмане.

– Ни по какому. Злобишься на меня... Оно и понятно, право твоё, конечно, старуху ненавидеть...

– Нет у меня к вам ненависти. Для ненависти понимать нужно, за что человека ненавидишь. А я пока ни понять, ни поверить не могу.

– ...Месяцев девять тебе было, когда в нашей деревне появились городские, с Урала приехавши тутошные красоты смотреть. Учёные такие, культурные, всё за ручку ходили, везде вдвоём... Чудные. Я Зинку упрёками совсем извела, всё ребёнком попрекала, талдычила ей непрестанно – не видать тебе счастья с обузой на руках. Ну и допекла совсем... Приезжие тебя как увидели, так и влюбились без памяти (говорю ж, что красивым в отца уродился, Зинаида-то моя покойная не ахти какая красавица была). Словом-делом влюбились, ко мне с разговорами полезли – какой у вас внучок славный... Я им в ответ – коли нравится, так забирайте к себе, усыновляйте да увозите отселе в город!

Баба Нюра порывисто вздохнула.

– Удивились они таким словам. Обомлели. Думали, шучу. Да только не шутила я. Они к Зинаиде кинулись с расспросами, а у той одни слёзы вместо ответа...

Баба Нюра закончила свой рассказ, когда дневной свет уже безраздельно властвовал за окном. Я бессмысленно смотрел в него и молчал. Все события последних месяцев, за исключением некоторых недостающих деталей, складывались теперь в одно целое, которое мне не хотелось ни понимать, ни принимать. Чем дольше я сидел так, тем большее раздражение накатывало на меня. Поначалу я не понимал причины этого раздражения, а потом до меня дошло – я совершенно не знал, что мне делать дальше.

Само собой вышло, что я стал выплёскивать раздражение на бабу Нюру.

– И что же, говорите, что ребёночку было девять месяцев от роду, не прятали его от людей, а потом вот так запросто отдали приезжим и никто, ни одна душа в округе за эти годы не обмолвилась, не вспомнила, не поинтересовалась, что был-таки у баб Нюры внучок да потом куда-то сплыл?! Не бывает же такого!

– Выходит, бывает.

– Враньё! – грубо настаивал я.

– А хоть бы и не поверишь ты мне, однако, куда ж от правды деться... Боялись меня деревенские, ведьмой промеж себя считали. И по сию пору боятся и считают. Кому ж охота про ведьму слух распространять. Незнамо чем и обернётся потом... Так и молчали.

– И что же, правду люди говорят про вас?

– Не знаю. – равнодушно ответила старуха. – Ведьма не ведьма, а что задумаю, то сбудется. Про то все в деревне знают. Оттого и молчат в мою сторону. А уж если что во сне привидится, так то самое верное.

Баба Нюра задумчиво вздохнула.

– Она как бывает, Васятка, думала, лучше дочке сделаю, а вышло...

– Не печальте Бога, – начал смягчаться я, – внуки-то вон у вас какие... Хотя бы ради них и не скажешь сейчас, что хорошо было, а что плохо. Вот и я вашими стараниями в люди вышел и снова зашёл.

Я невесело усмехнулся.

– Нет у меня зла на вас. Да и родители умерли, всё равно, правду больше пытаться не у кого.

– Помолись за меня перед Богом, внучок. И за мать свою Зинаиду свечку в церкви поставь. Всего и прошу от тебя.

Чувствуя, что прощена, старуха нащупала мою руку и благодарно вцепилась в неё своими крючковатыми пальцами.

– Не знаю я молитв, – смешался я, – да и не крещёный...

– Знаю, что приемные твои родители по образованию своему большому Бога не признавали. Знаю. Так ведь крещёный ты, Васенька! Как с усыновлением сладилось, так Зинаида тайком тебя в город свезла, там и окрестила. Так и крестили Василием. Открой сундук-то.

Я подошёл к сундуку у стены и открыл его.

– Видишь?

На самом верху объёмного сундука поверх платков и простыней лежал маленький алюминиевый крестик на красной шёлковой нитке.

– Твой это, бери. Городские как его увидели, так руками замахали – блажите мол, незачем. Зинаида крестик сберегла, мне перед смертью отдала, наказала сберечь его и молиться Богу за тебя... Я и молилась... Я и сберегла... Теперь бери, не сомневайся: Бог тебя не оставит.

Я взял крестик и медленно пошёл к выходу, держа его перед собой.

– Последнее спросить хочу у вас. – произнёс я не оборачиваясь. – Мои ночные безмолвные кошмары – тоже ваши дела?

– Было, да?... – на секунду оживилась старуха. – Всё верно, такое бывает. Так должно быть. Оттого это было с тобой, что звала тебя по ночам, звала... По имени, перед Богом данным звала... Васей звала... То зов мой до тебя доносился, сердце твоё тревожил, разум смущал, в разлад с душой пускал... Душа-то христианская, она чуткая, всё слышит, да разум её не всегда понимает. Оттого и разлад случается как с тобой случился. Ну да не тревожься теперь, ушло всё, ушло... былым стало, не нужным. Ты, главное, от Бога не отворачивайся, Он тебя любит, Бог-то. Любит...

Я открыл дверь.

– И поспешал бы ты, Васятка, домой. Сын тебя уж заждался. И жена томится неизвестием, ждёт.

Я вздрогнул.

– Ждут, ждут, сон мне был про то. Не врут мои сны-то, Васятка. Не врут...

Вместо эпилога

Бабу Ньюру похоронили под Рождество, а вскоре за этим я вернулся в свой город, домой, где меня встретил белоголовый веснушчатый мальчуган, удивительно похожий на Лиду. Жена назвала его Сашей. Через пару месяцев мы оставили большой город и уехали к южному морю. Там мы купили просторный дом на высокой горе и открыли свою гостиницу. В память о случившемся я поставил недалеко от гостиницы, у родника, небольшую

часовенку, которая отовсюду хорошо видна. Ночные кошмары оставили меня навсегда, вместе с ними ушёл навсегда и красивый сон, полный нежной печали и любви. Иногда мне его не хватает. Через три года после моего возвращения в нашем семействе случилось прибавление – к белоголовому сынишке добавилась дочь с черными, как смоль волосами и озорными глазами. Раз в год к нам приезжают братья с сестрой. Они давно выросли и теперь у них свои семьи и свои дети. Мне нравится дело, которым я занят. Вечерами, когда все заботы улеглись, а время до сна ещё осталось, я люблю спускаться в гостиную и, сев в сторонке, слушать при потрескивании камина, рассказы постояльцев. Если вы приедете в мою гостиницу, буду рад послушать и вашу историю. Вы запомнили, наверное, что меня зовут Александр, но если вдруг услышите, что кто-то назвал меня Василием, не удивляйтесь – в этом не будет ошибки. Впрочем, вы легко догадаетесь об этом, услышав, как какой-нибудь местный житель, показывая вам дорогу к гостинице, скажет при этом: «Васькина гора», а потом, нет-нет, да и перекрестится на часовенку. И не спрашивайте меня больше ни о чём – мне нравится слушать чужие истории, а свою историю я только что поведал вам до конца, поставив в финале её большую красивую точку.

29.07.2007 – 14.08.2009, Полтавская